

Москва • С.-Петербург
Летний сад • Университетская книга
2014

Georg Trakl
Gesang des Abgeschiedenen

Martin Heidegger
Die Sprache im Gedicht

Теорэ Тракы
Течыь Опрешеннозо

Мармин Хаугезер

Азык поэмы

УДК 821.112.2

ББК 84(4)

Т66

Т66 **Тракль Г.** Песнь Отрешенного. **Хайдеггер М.**
Язык поэмы. Пер. с нем. Н. Болдырева — М. —
СПб.: Летний сад, Университетская книга, 2014. —
460 с., илл.

ISBN 978-5-98856-199-6

ББК 84(4)

В книге использована работа Тамары Меженовой

ISBN 978-5-98856-199-6

© ООО «Издательство «Летний сад», 2014

© Н. Ф. Болдырев, перевод, предисловие, послесловие, 2014

© Т. Меженова, илл., 2014

ПИРАМИДА

(Предисловие)

1

5

Помню вечер у камина с первооткрывателем уральского Аркаима Геннадием Здановичем: наша уютная маленькая компания все ближе подбиралась к раскопам темы невозможности познать другую цивилизацию, оторванную от нас не столько несколькими тысячелетиями, сколько языком, нам неизвестным. Как понять иную сеть сознания, иной ритм в коме, в психэ и, соответственно, в вещах, иное соотношение светимостей, то есть иное соположение видимого и невидимого, рельефного и те-

невого с помощью нашего сегодняшнего описания, пронизанного теми клише, с которыми мы наивно идентифицируем не только себя, но и все окружающие нас вещи? Забрасывая свои охотничьи арканы в прошлое, мы вытягиваем дичь, состоящую из наших собственных измышлений, мы *фантазируем* на тему, но не познаем неизвестное. Тем более что неизвестное на самом деле – в нас самих...

Поэзия и есть порыв в эту сторону, в сиюминутность *ествования*, в родниковую сверхрациональность истины-естины, в ужасающую многомерность того потока, в котором мы неумолимо трансформируемся. Поэзия ищет тропинок внутри самой себя, где “бегство в другое” и создает динамику поэтического “вольнодумства”: внутри нас есть цивилизации, нам, нашему языковому сознанию, неведомые.

Здесь начинается отрезвление и одновременно поэзия, то есть иная форма опьяненности/опьянения. В этой отрезвляющей опьяненности проросла поэзия Тракля. На что опирался дух этого залётного в богемно-беспутный двадцатый век существа, пролетавшего мимо планеты? На интуицию собственной маленькой библии, которую ему следовало написать. Каждое ангельское существо имеет при себе невидимую книжицу, в которой дан эскиз подлинников вещей, тени которых мы созерцаем на земле. Это своего рода карта настоящих координат земного мира, расшифровка вещей и сутей, данных нам обычно в заколдованном облике. Потерявши эту книжицу в пути, Тракль восстанавливал ее черты с нежной неторопливостью уже умершего. Иномирье, которое он интуитивно постигает, есть подлинное измерение земного.

Библия есть, конечно, фрагменты записей разговора божественного вестника (Хозяина-невидимого-измерения) с человеком, а затем и человека с этим Вестником, то есть с тем, кто в обычном смысле Невидим. С другой стороны, библия есть созерцание человеком того внутреннего своего пространства, которое не уместается в рамках чисто материального земного сюжета, охватываемого обычной литературой. То, что для литературы эстетика, то есть посторонняя обольстительность пластики, то для библии этика: опыт причастности к потустороннему. Как тонко заметил русский поэт, в библии "тело — не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые «потаенности недр», это не созерцаемое извне, а восчувствованное изнутри тело". Сказано словно бы о Тракле, недоступ-

ном для энергий овнешняющих и овнешненных. Сакральное пространство он очерчивал в записной книжке тонкими ломкими линиями. Это грезящее свойство духа воссоединяло его с незапамятностью времен совсем иных. Но это же знание, а точнее восстановление знания *подлинной карты* превращало его бранные (в плену горчаще-влекущей смерти) прогулки по земным путям в волхвующее чудесование, где простое прикосновение к древесному стволу или к витой ограде возле старого особняка становилось умопомрачительным воссоединением с предками, еще ничуть не растленными. Мистериальное чувство осеняет существо, чье странствие в неведомости ближайшего.

Есть и еще одна ассоциация: с библейским существом из датского топоса, существу этому принад-

лежат светящиеся признания в дневнике: «Я служу Богу, но без властных полномочий. Моя задача — расчистить место, чтобы Бог на него сошел. (Моя задача — не *командуя* очистить место, но *страда*я очистить место). Так что легко видеть, почему я в совершенно буквальном смысле должен быть одиноким человеком, *item*¹ — держать себя в *слабости и хрупкости...*» Тракль не пользовался средствами столь прямого пафоса, будучи человеком скромнейшим, однако в словах датского Паскаля заключена весьма точная расшифровка слабости и хрупкости и Георга тоже как инструмента для совершенно исключительной задачи, поставленной им изнутри себя перед своей тленностью. Случай здесь ничего не решает. Здесь действует замысел и промысел.

¹ Равным образом (лат.)

Так что «тайна другой цивилизации», которую мы внутри себя носим, конечно же, не есть материальный Аркаим. Карта Аркаима пятитысячелетней давности — ничто перед бездоннолетней картой нашей внутренней страны, легкий абрис которой дает Тракль, хрупко прикасаясь к боли, которая и есть «голубое мгновенье души».

2

Язык встает перед нами как сеть, которую поэт захватывает окраину речи, каждый раз пытаясь чуть-чуть отодвинуть ее в сторону ночи и безмолвия. Тракль это делает кротко и неназойливо, малым количеством повторяющихся слов. Он ничуть не похож на поэтов эпохи модерна (и постмодерна),

сгущающих речь в агрессивно-парадоксалистском столкновении экзотических фонем до смыслового мрака, в элане захвата всех акваторий словаря, в игре аллюзий, тонко апеллирующих к тщеславию скриптора. Он прикасается к сумраку жизни и ее чувства, к непроявленной их сути вновь и вновь благоговейным повторяющимся штрихом. Едва ли это похоже на то, как кто-то отчаянно смелый танцует на самой кромке речи при свете костра, когда очи Ночи, ее неуязвимых зверей-хищников хлещут в упор.

Разумеется, герой Тракля понимает, что *есть сознание, лежащее в глубине всех сознаний*. Именно к этой уже за пределами слов *реальности* устремляется тайная энергия его поэтической речи. Это ее тихий экстаз наподобие ветра, дующего с невидимого Востока. Из этой бессмертной (быть может) глубины будто бы личного сознания и идет вся сила влекущего нас с

рождения света. И чем более стихи уходят словно бы в невнятицу и в сумрак при сохранении этого сквозного щемяще-гармонического звука, тем более они прикасаются к прародине Пришельца.

«То, что составляет подлинное произведение искусства, не есть *тот*, кто ставит на нем свое имя; то, что составляет произведение, не имеет имени», — так переформулировал древнейшее восточное наблюдение Поль Валери. К этой энigmatичной безымянности Тракля влекло с той силой, исток которой был ему ведомо/неведом.

Что удастся поймать в словесную сеть? Лишь некоторые осколки, случайные блески донного света. Блески того невыразимого сознания, к которому с разных сторон подступают столь разные поэты как Рильке и Тракль; сумрачно-солнечная мгла последнего контрастна к экстатически-вдумчивой

прозрачности первого. Но сближает их ситуация внутренней точки обзора Сущего: мощнейшая изумленность. Это зверо-птицы, томимые невероятием земного опыта, постигаемого ими из уникальности космического пришельчества. Потому-то и постоянное перемещение этих условных для них рамок жизни, смерти; размыкание этих границ будто бы ведомого. Ибо это пришельцы (единица речи Тракля) не из внешних «космических глубин», чем занимается подростковая фантазия, а из единственной для них достоверности: внутри-миро-простора, являющегося вовсе не метафорой. И высвечивая эту «нашу» временную реальность черной кали-юги световыми потоками своих вечных очей-прожекторов, они транслируют собою речь в смешенье ужаса и благодаренья, в музыкальной попытке восстановить иерархию духа в этом невероятном и всё растущем

хаосе, создаваемом скрежетом и ревом омраченной материальности.

3

15

Сумеречно-прозрачная, «новозаветно»-аскетичная поэзия Тракля ясно дает понять, что ее природа сверхвербальна. Так ведь даже и апокрифические Евангелия не есть самоценная словесная музыка. Чара здесь другого, нежели чему мы выучены, истока. Нет здесь и той музыки, что в мантре «аум». Слова есть не более чем ветошь, если они исходят из эстетического клокотания человека как самостоятельного биоробота. Они шелушатся и опадают, отслаиваются как старая кожа. И тогда входят в моду театральные румяна, татуировки бесчисленных мастей и маски отнюдь не театра Но. Поэзия же восходит

к некоему архетипу себя. А он есть не что иное, как чаемо-изначальная реальность, притом настолько мистериального (чуждого нам сегодня) свойства, что определить ее традиционным «магическим кристаллом» или сферой, транслирующей Неизмеримое (определение Рильке²), было бы наиболее приемлемо-естественным, ибо постижимо-непостижимым. Интуитивный поэт, чующий стихотворение частью природы, конечно, возводит себя к волхвованию в направлении к этому исходно-бытийному (архетипическому?) Стихотворению, пульсирующему внутри нас и одновременно вовне. Тоска по воссоеди-

² Кроткое сердце Тракля мыслило более осязаемыми ощущениями: «Чувство, охватывающее тебя в мгновения жизни, подобные смерти: все люди достойны любви. Проснувшись, чувствуешь горечь мира; в этом вся твоя неисккупленная вина; твои стихи – несовершенная форма искупления».

нению с ним движет его устами. Тоска возможности и невозможности этого воссоединения. Но поскольку этот импульс принят (как в случае Тракля или Рильке) и взято направление, постольку поэт схватывает исходно-архаическое триединство энергий, а не только низшую их фазу – эстетическую красоту, как это делает массовое искусство и мышление, собственно, даже и не догадывающееся, что красота (как и ужас) многоуровнева.

Современный менеджер от культуры, говоря об “удовольствии от текста” как главном ценностном критерии эпохи³, и поэзию, как и всякое искусство, рассматривает в качестве вкушаемого, притом в гастрономически-гедонистическом измерении. Вкус-

³ Соответственно и о городе как “машине для удовольствий”; само собой, и человек здесь, ближний – есть не что иное, как ближайший и самозаконный объект удовольствий.

но здесь контролируется баллами удовольствия, где не только звук и ритм (фонетика), эмоционально-волевые и аллюзивно-ассоциативные вибрации дополняют щекотания центров интеллектуальной комбинаторики, смежной остроумию, но имеет вес и почти сверхценность тщеславие гурмана. Всё это создает коллапс чисто эстетического свойства, в который нас, современного плоскостного сапиенса, вогнала чувственно-природная стадия жизни, в которой мы намертво прописаны. Диктатура материальной эстетики (и эстетизма) фактически здесь абсолютна.

Но поэты уровня Тракля и Рильке еще держали руку на пульсе исходного триединства: эстетической, этической и сокровенной красоты, – и наименее значимой в этой “пирамиде сознания” была, конечно, “гастрономически-телесная” ее часть. Здесь объемы изначаль-

ности имеют абсолютную значимость. Сокровенное превышает все воображаемо-мыслимые пределы; прикосновения к этой исходно-основной красоте в поэзии Тракля подобны догадкам о галлюциногенной природе бытия. Потому-то звери, птицы и пришельцы в его стихах есть на самом деле совсем не то, что точно фиксируемо. Это смутные вибрации Сущест^в, для нас непостижимых и превышающих возможности наших интеллектуально-эстетических восприятий. Существа эти входят с нами в контакт лишь на пересечении энергий, где душевное и сверхдушевное обладает своими, уходящими в бездну, полномочиями прекрасного, суть которого эстетикой (“эстетическим вкусом”) быть постигнуто никак не может⁴.

Эти прикосновения к объемному кристаллу, к великому трехграннику (шести, девяти и т. д.) и созда-

⁴ Что постигалось, например, в элевсинских и иных мистериях.

ют мерцательность той целомудренно-трагической музыки, которая и есть исходное вещество нас самих. В музыкальных пьесах Тракля, бесконечно далеких от гастрономии и гедонистических свинств, равно розариев, звучит момент прикосновения изначального к изначальному, где стирается и истаивает собственно телесное, взятое в его абсолютной тленности. Остается та сверхреальность, что галлюцинирует прозрачным веществом нежнейших духовных анклавов, в которые мы однажды вернемся из нашего нынешнего “зеленого тления”.

Николай Болдырев

Георг Траклъ
Песнь Отрешенного

AM RAND EINES ALTEN BRUNNENS

2. Fassung

Dunkle Deutung des Wassers: Zerbrochene Stirne
im Munde der Nacht,
Seufzend in schwarzem Kissen des Knaben
bläulicher Schatten,
Das Rauschen des Ahorns, Schritte im alten Park,
Kammerkonzerte, die auf einer Wendeltreppe verklingen,
Vielleicht ein Mond, der leise die Stufen hinaufsteigt.
Die sanften Stimmen der Nonnen in der verfallenen Kirche,
Ein blaues Tabernakel, das sich langsam auftut,
Sterne, die auf deine knöchernen Hände fallen,
Vielleicht ein Gang durch verlassene Zimmer,
Der blaue Ton der Flöte im Haselgebüsch — sehr leise.

UNTERWEGS

Am Abend trugen sie den Fremden in die Totenkammer;
Ein Duft von Teer; das leise Rauschen roter Platanen;
Der dunkle Flug der Dohlen; am Platz zog eine Wache auf.
Die Sonne ist in schwarze Linnen gesunken; immer wieder
kehrt dieser vergangene Abend.

Im Nebenzimmer spielt die Schwester
eine Sonate von Schubert.

Sehr leise sinkt ihr Lächeln in den verfallenen Brunnen,
Der bläulich in der Dämmerung rauscht.

O, wie alt ist unser Geschlecht.

Jemand flüstert drunten im Garten;
jemand hat diesen schwarzen Himmel verlassen.
Auf der Kommode duften Äpfel. Grossmutter zündet
goldene Kerzen an.

В ПУТИ

Вечером чужеземца отнесли они в камеру мертвых;
смог ароматы; шелест чуть слышный

красных платанов;

смутные галок пролеты; на плацу меняется стража.

Солнце в черноты холста льняного укрылось;

снова и снова возвращается этот исчезнувший вечер.

В комнате рядом – сестра за роялем: Шуберт, соната.

Кротко тонет улыбка ее в обветшавшем фонтане;

в сумерках он шелестит, чуть-чуть голубея.

О, как стар род наш древний!

За окошком в саду – кто-то шепчет кому-то;

кто-то покинул уже это черное небо.

Яблоки на комодe, как они пахнут!

Бабушка зажигает золотистые свечи.

O, wie mild ist der Herbst.

Leise klingen unsere Schritte im alten Park
Unter hohen Bäumen. O, wie ernst ist das hyazinthene
Antlitz der Dämmerung.

Der blaue Quell zu deinen Füßen,
geheimnisvoll die rote Stille deines Munds,
Umdüstert vom Schlummer des Laubs, dem dunklen Gold
verfallener Sonnenblumen.

Deine Lider sind schwer von Mohn
und träumen leise auf meiner Stirne.
Sanfte Glocken durchzittern die Brust. Eine blau Wolke
Ist dein Antlitz auf mich gesunken in der Dämmerung.

Ein Lied zur Gitarre, das in einer fremden Schenke erklingt,
Die wilden Hollunderbüsche dort,
ein lang vergangener Novembertag,

Как нежна эта осень! Тихозвучны наши шаги
в этом парке старинном, возле высоких деревьев.

Как серьезен гиацинтовых сумерек облик

Синий родник – у твоих ног;

как таинственна алая тишь твоих губ
уходящих в сумрак дремотный листвы, в темное злато
этих подсолнухов низко склоненных. Веки твои,
маковой тяжестью полны, грезят на лбу моем кротко.

Грудь просквозает колокольная нежность.

Облаком синим с головой накрывает твой силуэт
в этих сумерках ранних.

Песня гитары где-то в корчме отдаленной,

бузины дикие заросли, о, как просторен

уходящий день ноября,

Vertraute Schritte auf der dämmernden Stiege,
der Anblick gebräunter Balken,
Ein offenes Fenster,
an dem ein süßes Hoffen zurückblieb —
Unsäglich ist das alles, o Gott,
dass man erschüttert ins Knie bricht.

O, wie dunkel ist diese Nacht. Eine purpurne Flamme
Erlosch an meinem Mund. In der Stille
Erstirbt der banger Seele einsames Saitenspiel.
Lass, wenn trunken von Wein das Haupt in die Gosse sinkt.

в полумраке подъезда – родные шаги;
ракурс коричневых ставен,
приоткрыто окно, где надежды сладость все та же...
Как несказанно, о Боже, –
с чем потрясенно встаем на колени!

29

Как темна эта ночь! Погаси
пурпурный пламень рта моего. В тишине
умирают робкой души одинокие струн переборы.
Опьянев от вина, головой погружаюсь в желоб дождей.
Не мешай.

* * *

О тишина проживанья в сумеречности сада,
где очи сестры изумлённы и таинственно-тёмны
и всматриваются в брата.
Пурпур ртов их истерзан
и тает в вечерней прохладе.
Сердце рвущее время.

31

Дар сентября – золото груш. Ладана тихая сладость;
вдоль палисадника старого – горящие георгины.
О, расскажи, где мы были, когда проплывали мимо
вечером в черной лодке?

Журавль проплывал над нами. Зябнущие руки
черноту обнимали, а в глубине ее – кровь текла
и устремлялась куда-то.
Влажная синева касалась наших висков и затылков.

Arm' Kindlein. Tief sinnt aus wissenden Augen
ein dunkles Geschlecht.

AN DIE SCHWESTER

Wo du gehst wird Herbst und Abend,
Blaues Wild, das unter Bäumen tönt,
Einsamer Weiher am Abend.

Leise der Flug der Vögel tönt,
Die Schwermut über deinen Augenbogen.
Dein schmales Lächeln tönt.

Gott hat deine Lider verbogen.
Sterne suchen nachts, Karfreitagskind,
Deinen Stirnenbogen.

О, мой бедный ребенок.
Из очей твоих мудрых из глубины волхвует
пол единый и смутный.

СЕСТРЕ

Куда ни войдешь ты, там осень и вечер,
синяя дикая птица, поющая в роще,
маленький пруд, одинокий, вечерний.

Птичий полет, тихо-тихо звенящий.
О, как печальны глазные излучки.
Робкой улыбки чуть слышное пенье.

Бог, это он изогнул твои веки.
Звезды ночами, Голгофы ребенок,
ищут твои ввысь летящие брови.

SOMMERSNEIGE

Der grüne Sommer ist so leise
Geworden, dein kristallenes Antlitz.
Am Abendweiher starben die Blumen,
Ein erschrockener Amselruf.

Vergebliche Hoffnung des Lebens. Schon rüstet
Zur Reise sich die Schwalbe im Haus
Und die Sonne versinkt am Hügel;
Schon winkt zur Sternenreise die Nacht.

Stille der Dörfer; es tönen rings
Die verlassenen Wälder. Herz,
Neige dich nun liebender
Über die ruhige Schläferin.

ИСТАЯЛО ЛЕТО

Зеленое лето истаяло так незаметно;
лик твой хрустален.
Смерть приняли молча цветы у вечернего пруда.
Испуганны зовы дрозда.

35

Жизни надежда напрасна. Ласточка в доме
в путь собирается дальний.
В холм погружается солнце;
ночь уже намекает о странствиях звездных.

Тихи деревни; звучно окрашены,
всеми покинуты, рощи.
Сердце – нежнее, покорней склонись
над невинно уснувшей.

Der grüne Sommer ist so leise
Geworden und es läutet der Schritt
Des Fremdlings durch die silberne Nacht.
Gedächte ein blaues Wild seines Pfads,

Des Wohllauts seiner geistlichen Jahre!

KASPAR HAUSER LIED

Für Bessie Loos

Er wahrlich liebte die Sonne,
die purpurn den Hügel hinabstieg,
Die Wege des Walds, den singenden Schwarzvogel
Und die Freude des Grüns.

Зеленое лето истаяло так незаметно;
звонок шаг чужеземца
в серебряной нóчи.
Запомни тропы его дикой синюю птицу,
блаженное пенье его молитвенной жизни!

ПЕСНЬ О КАСПАРЕ ХАУЗЕРЕ

Бесси Лоос

Он истово солнце любил,
когда оно пурпуром холм обнимало,
любил лесные тропинки, поющую черную птицу,
радость зеленого света.

Ernsthaft war sein Wohnen im Schatten des Baums
Und rein sein Antlitz.
Gott sprach eine sanfte Flamme zu seinem Herzen:
O Mensch!

Stille fand sein Schritt die Stadt am Abend;
Die dunkle Klage seines Munds:
Ich will ein Reiter werden.

Ihm aber folgte Busch und Tier,
Haus und Dämmergarten weisser Menschen
Und sein Mörder suchte nach ihm.

Frühling und Sommer und schön der Herbst
Des Gerechten, sein leiser Schritt

Под тенью дерев он жил так серьезно,
был лик его чистым.

То Бог раздувал в его сердце нежное пламя
воспеть человека.

Однажды под вечер он сам не заметил,
как в город вошел
с таинственным зовом в устах:
всадником должен я стать непременно!

Внимали деревья ему, внимали и звери,
и дом, и сумрачный сад, где жили белые люди,
но крался по следу уже и убийца.

Весна, за ней лето, прекрасна и осень
для тех, кто правдивы; как тих ее шаг

An den dunklen Zimmern Träumender hin.
Nachts blieb er mit seinem Stern allein;

Sah, daß Schnee fiel in kahles Gezweig
Und im dämmernden Hausflur den Schatten des Mörders.

Silbern sank des Ungeborenen Haupt hin.

40

GEISTLICHE DÄMMERUNG

2. Fassung

Stille begegnet am Saum des Waldes
Ein dunkles Wild;
Am Hügel endet leise der Abendwind,

возле комнат туманных мечтателя; ночью
он здесь оставался один на один со своею звездой.

Смотрел он, как падает снег на голые ветви,
а в призрачных сумерках сеней –
убийцы тень колыхалась.

41

Серебряным светом глава Нерожденного пала.

СВЯЩЕННЫЕ СУМЕРКИ

2-я редакция

Тишина на опушке лесной
обнимает смутного зверя.
У холма тихо ветер вечерний скончался.

Verstummt die Klage der Amsel,
Und die sanften Flöten des Herbstes
Schweigen im Rohr.

Auf schwarzer Wolke
Befährst du trunken von Mohn
Den nächtigen Weiher,

Den Sternenhimmel.
Immer tönt der Schwester mondene Stimme
Durch die geistliche Nacht.

LEBENSALTER

Geistiger leuchten die wilden
Rosen am Gartenzaun;
O stille Seele!

Дрозд устал от стенаний и плачей.
Нежные осени флейты
в тростнике приумолкли.

Опьяневши от мака,
на облаке черном плыву
по ночного озера глубям,
по звездному небу.

Лунный голос сестры неумолчно поёт,
заполняя священную ночь.

ВОЗРАСТЫ ЖИЗНИ

Духосвечением дикие розы сияют
возле садовой ограды.
Душа тишиною укрыта.

Im kühlen Weinlaub weidet
Die kristallne Sonne;
O heilige Reinheit!

Es reicht ein Greis mit edlen
Händen gereifte Früchte.
O Blick der Liebe!

AN EINEN FRÜHVERSTORBENEN

44

O, der schwarze Engel,
 der leise aus dem Innern des Baums trat,
Da wir sanfte Gespielen am Abend waren,
Am Rand des bläulichen Brunnens.
Ruhig war unser Schritt, die runden Augen
 in der braunen Kühle des Herbstes,
O, die purpurne Süße der Sterne.

В виноградника темной прохладе
хрустальное солнце пасётся.
Чистота, ее святость!

Старика благородные руки
подают мне спелые фрукты.
Сколько любви в его взгляде!

45

ОДНОМУ РАНО ПОЧИВШЕМУ

О, черный ангел, ты вышел неслышно из древа глубин,
когда мы, кроткие в дружбе юнцы,
были близ вод голубевших фонтана.
Покой был в наших движеньях,
глаза изумленно глядели
в вечернюю темную желть осенней прохлады.
О, пурпур сладости звездной!

Jener aber ging die steinernen Stufen
des Mönchsbergs hinab,
Ein blaues Lächeln im Antlitz und seltsam verpuppt
In seine stillere Kindheit und starb;
Und im Garten blieb das silberne Antlitz
des Freundes zurück,
Lauschend im Laub oder im alten Gestein.

Seele sang den Tod, die grüne Verwesung des Fleisches
Und es war das Rauschen des Walds,
Die inbrünstige Klage des Wildes.
Immer klangen von dämmernden Türmen
die blauen Glocken des Abends.

Stunde kam, da jener die Schatten in purpurner Sonne sah,
Die Schatten der Fäulnis in kahlem Geäst;

Но тот, кто Другим был, по склону Монашьей горы
ступенями каменных лестниц спускался.
Играла улыбка – небесный отсвет в лице, и, странно
окуклившись в тихие детства затоны, он умер,
оставив в саду серебряный оболочку друга;
Из мрака листвы, из древних камней
он всё еще слушает нас.

47

Душа воспевала смерть, зеленое тление плоти,
ей вторил шелест лесов,
страстные жалобы птиц.
Вечерних колоколов голубой перезвон не кончался.

Но пробил вдруг час: сквозь пурпурность солнца
он тени наши заметил,
тленные тени сквозь голость ветвей.

Abend, da an dämmernder Mauer die Amsel sang,
Der Geist des Frühverstorbenen stille im Zimmer erschien.

O, das Blut, das aus der Kehle des Tönenden rinnt,
Blaue Blume; o die feurige Träne
Geweint in die Nacht.

Goldene Wolke und Zeit. In einsamer Kammer
Lädst du öfter den Toten zu Gast,
Wandelst in trautem Gespräch
unter Ulmen den grünen Fluss hinab.

Внезапная песня в сумерках каменных стен:

черный дрозд.

Призрак рано ушедшего в комнату тихо ступил.

О кровь, что струится из горла мелодией вне разрывов!

О голубой цветок! Жаркие слезы –

прóлиты в Ночь!

49

Золото облаков, времени зыбь. В одинокую комнату
засываю покойного чаще и чаще.

Все доверчивей наша беседа, когда бок о бок бредем,
опускаясь под вязы все ниже по теченью зеленой реки.

ANIF

Erinnerung: Möven, gleitend über den dunklen Himmel
Männlicher Schwermut.

Stille wohnst du im Schatten der herbstlichen Esche,
Versunken in des Hügels gerechtes Maß;

Immer gehst du den grünen Fluss hinab,
Wenn es Abend geworden,
Tönende Liebe; friedlich begegnet das dunkle Wild,

Ein rosiger Mensch. Trunken von bläulicher Witterung
Rührt die Stirne das sterbende Laub
Und denkt das ernste Antlitz der Mutter;
O, wie alles ins Dunkel hinsinkt;

АНИФ

Помню: чайки скользят под небом туманным
тоски человечесьей.

Тихо живешь ты, осеннего ясеня тенью укрытый,
в Холм погруженный, в праведность его меры.

51

Неудержимо скользишь вниз по зеленой реке,
раз здесь свершается Вечер,
при звуках и красках любви. Кротко навстречу
движется зверь непостижный,

человек, сияя румянцем. Пьяный от свежести синей,
лбом прикасаясь к мертвой листве,
матери лик вспоминаешь заботливо-строгий.
Исчезновенно здесь всё, во тьму погружаясь!

Die gestrengen Zimmer und das alte Gerät
Der Väter.

Dieses erschüttert die Brust des Fremdlings.
O, ihr Zeichen und Sterne.

Groß ist die Schuld des Geborenen.

Weh, ihr goldenen Schauer

Des Todes,

Da die Seele kühlere Blüten träumt.

Immer schreit im kahlen Gezweig der nächtliche Vogel
Über des Mondenen Schritt,
Tönt ein eisiger Wind an den Mauern des Dorfs.

Торжественность комнат и старые праотцев вещи.
Смятенное сердце пришельца.
Эти знаки и звезды!

53

Как безмерно виновен рожденный.
О, эта дрожь, золотая, благоговейная,
смерти.
В хладе цветенья душа
не о ней ли задумчиво грезит?

Неотступно кричит в голых ветвях
птица ночная, поверху лунного хода.
Звонко стучит ветер ледяной
о стены изб деревенских.

FRÜHLING DER SEELE

Aufschrei im Schlaf;

durch schwarze Gassen stürzt der Wind,
Das Blau des Frühlings winkt durch brechendes Geäst,
Purpurner Nachttau und es erlöschen rings die Sterne.
Grünlich dämmert der Fluss, silbern die alten Alleen
Und die Türme der Stadt. O sanfte Trunkenheit
Im gleitenden Kahn und die dunklen Rufe der Amsel
In kindlichen Gärten. Schon lichtet sich der rosige Flor.

Feierlich rauschen die Wasser.

O die feuchten Schatten der Au,
Das schreitende Tier; Grünendes, Blütengezweig
Rührt die kristallene Stirne; schimmernder Schaukelkahn.

ВЕСНА ДУШИ

Вскрики во сне; по черным проулкам мечется ветер.
Зовы сини весенней в прорывах ветвей.

Ночная роса, ее пурпур; медленно звездочки гаснут.

Брезжит зелень реки, серебрятся старинно аллеи,
храмы на улицах, башни. О хмелящая нежность

ускользания в лодке; о черный дрозд, зовы твои
были так смутны в детства садах...

И вот уж их розовый пух развеян бесследно.

Величаво воды журчат. Влажные тени долины;
мягко ступающий зверь; зелень; ветви в цвету –
прикосновенье к хрустальности лба;

мерцание лодки в волнах.

Leise tönt die Sonne im Rosengewölk am Hügel.
Gross ist die Stille des Tannenwalds,
die ernsten Schatten am Fluß.

Reinheit! Reinheit! Wo sind die furchtbaren Pfade
des Todes,
Des grauen steinernen Schweigens, die Felsen der Nacht
Und die friedlosen Schatten? Strahlender Sonnenabgrund.

Schwester, da ich dich fand an einsamer Lichtung
Des Waldes und Mittag war und gross das Schweigen
des Tiers;
Weiße unter wilder Eiche, und es blühte silbern der Dorn.
Gewaltiges Sterben und die singende Flamme im Herzen.

Тихо солнце поет в розовых тучах на всхолмье.
Велико молчанье елового леса;
тени серьезны в реке!

Чистота! Всюду только она!
Где же вы – ужасы троп смертоносных,
рифмы ночные, безмолвие серых камней, бесприютные
тени? Солнечно светится бездна.

Сестра, я нашел тебя на заброшенной просеке в чаще,
в полдень то было и было великим молчание зверя.
Белизна под заброшенным дубом, цвел
серебристый терновник.
Безмерная мощь умиранья и пламя, поющее в сердце.

Dunkler umfliessen die Wasser
die schönen Spiele der Fische.
Stunde der Trauer, schweigender Anblick der Sonne;
Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden. Geistlich dämmert
Bläue über dem verhauenen Wald und es läutet
Lange eine dunkle Glocke im Dorf; friedlich Geleit.
Stille blüht die Myrthe über den weissen Lidern des Toten.

Leise tönen die Wasser im sinkenden Nachmittag
Und es grünet dunkler die Wildnis am Ufer,
Freude im rosigen Wind;
Der sanfte Gesang des Bruders am Abendhügel.

В водах, где пенье заката, – рыб прекрасные игры.
Час щемящей печали; молчаливый взор солнца;
Так вот же она – душа: на Земле чужестранка.
Синева дышит духом, брезжит над поваленным лесом;
долго звучит над деревней колокол, глухо и странно;
прощание скромно и тихо. Белые веки усопшего
мирт осенял, чуть зацветший.

59

Чуть слышно воды журчат, по течению дня ускользя.
В сумерках тает вдали зелень кустов у реки,
радость в розовом ветре.
Нежное пенье монаха на Холме предзакатном.

AN NOVALIS

2. Fassung (a)

In dunkler Erde ruht der heilige Fremdling.
Es nahm von sanftem Munde ihm die Klage der Gott,
Da er in seiner Blüte hinsank.
Eine blaue Blume
Fortlebt sein Lied im nächtlichen Haus der Schmerzen.

KINDHEIT

Voll Früchten der Hollunder; ruhig wohnte die Kindheit
In blauer Höhle. Über vergangenen Pfad,

НОВАЛИСУ

2-я редакция (а)

В темной земле отдыхает священный Пришелец.
С уст его нежных принял плачи сам Бог,
Дав погрузиться вглубь своих ароматов.
Цветок голубой
Песнь его продолжает
В ночном обителище боли.

ДЕТСТВО

Усыпана плодами бузина;
жительство детства блаженно
В голубизне грота. Над бывшей тропею,

Wo nun bräunlich das wilde Gras saust,
Sinnt das stille Geäst; das Rauschen des Laubs

Ein gleiches, wenn das blaue Wasser im Felsen tönt.
Sanft ist der Amsel Klage. Ein Hirt
Folgt sprachlos der Sonne, die vom herbstlichen Hügel rollt.

Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele.
Am Waldsaum zeigt sich ein scheues Wild und friedlich
Ruhn im Grund die alten Glocken und finsternen Weiler.

Frömmer kennst du den Sinn der dunklen Jahre,
Kühle und Herbst in einsamen Zimmern;
Und in heiliger Bläue läuten leuchtende Schritte fort.

Где дикие травы шуршат, в темную прожелть,
В раздумьях тихие кроны; лепет листвы,

Похожий на пенье горных струй голубых.
Нежный плач – это ты, черный дрозд! В безмолвье
Пастух наблюдает, как катится солнце с холма.

63

Миг голубой – тот, где чуть больше души.
Зверь осторожный на опушке лесной,

в долине внизу –

Покой колоколен старинных,

кротость печальных селений.

Всё смиреннее смысл открывается лет этих смутных,
Осень прохладная комнат пустынных;
А в священную синь удаляется пенье шагов.

Leise klirrt ein offenes Fenster; zu Tränen
Rührt der Anblick des verfallenen Friedhofs am Hügel,
Erinnerung an erzählte Legenden;
doch manchmal erhellt sich die Seele,
Wenn sie frohe Menschen denkt,
dunkelgoldene Frühlingstage.

HELIAN

In den einsamen Stunden des Geistes
Ist es schön, in der Sonne zu gehn
An den gelben Mauern des Sommers hin.
Leise klingen die Schritte im Gras; doch immer schläft
Der Sohn des Pan im grauen Marmor.

С легким звоном окно распахнулось; до влаги в глазах
Наблюдаешь за старым погостом:

возле холма сиротеет,

Вспоминаешь легенды, что некогда слышал;

Но бывает, вдруг в душу прольется свеченье:

Лишь о людях, в ком радость живучая, вспомнишь,

О весенней поре с тусклым золота светом.

65

ГЕЛИАН

Одинокими Духа часами
хорошо идти под солнцем
вдоль желтых стен лета.

Тихо шуршанье шагов в траве; в мраморе сером
сновидения отпрыска Пана всё еще длятся.

Abends auf der Terrasse betranken wir uns
mit braunem Wein.

Rötlich glüht der Pfirsich im Laub;
Sanfte Sonate, frohes Lachen.

Schön ist die Stille der Nacht.
Auf dunklem Plan
Begegnen wir uns mit Hirten und weißen Sternen.

Wenn es Herbst geworden ist
Zeigt sich nüchterne Klarheit im Hain.
Besänftigte wandeln wir an roten Mauern hin
Und die runden Augen folgen dem Flug der Vögel,
Am Abend sinkt das weisse Wasser in Graburnen.

По вечерам на террасе опьяняем себя мы
темным вином виноградным.
Красным огнем персик рдеет в листве;
мягкая поступь сонаты; смеха свеченье.

67 Ночи молчанье прекрасно.
По туманной равнине
навстречу идут пастухи к нам и белые звезды.

Осень приходит, чтобы нам дать созерцанье
трезвой прозрачности рощи.
Чтобы блаженно брести вдоль ржавеющих стен
и изумленными взорами следовать птиц перелетам.
А вечерами белые воды текут
в свои погребальные устья.

In kahlen Gezweigen feiert der Himmel.
In reinen Händen trägt der Landmann Brot und Wein
Und friedlich reifen die Früchte in sonniger Kammer.

O wie ernst ist das Antlitz der teuren Toten.
Doch die Seele erfreut gerechtes Anschauen.

Gewaltig ist das Schweigen des verwüsteten Gartens,
Da der junge Novize die Stirne mit braunem Laub bekränzt,
Sein Odem eisiges Gold trinkt.

Die Hände rühren das Alter bläulicher Wasser
Oder in kalter Nacht die weissen Wangen der Schwestern.

В голых ветвях светится небо.
Чисты крестьянские руки, несущие хлеб и вино нам.
Мирно плоды дозревают в солнечной дреме.

О, как серьезны лики возлюбленных мертвых!
Но всё блаженна душа в созерцанье покойном.

69

Необъятно молчанье опустошенного сада;
юный послушник в венке из листвы облетевшей
тихо пьянеет, вдыхая морозное золото.

Прикосновенье руки к древности голубеющей влаги
или в холодную ночь – к белым сестринским лицам.

Leise und harmonisch ist ein Gang an freundlichen
Zimmern hin,
Wo Einsamkeit ist und das Rauschen des Ahorns,
Wo vielleicht noch die Drossel singt.

Schön ist der Mensch und erscheinend im Dunkel,
Wenn er staunend Arme und Beine bewegt,
Und in purpurnen Höhlen stille die Augen rollen.

Zur Vesper verliert sich der Fremdling
in schwarzer Novemberzerstörung,
Unter morschem Geäst, an Mauern voll Aussatz hin,
Wo vordem der heilige Bruder gegangen,
Versunken in das sanfte Saitenspiel seines Wahnsinns,

O wie einsam endet der Abendwind.
Ersterbend neigt sich das Haupt im Dunkel des Ölbaums.
Erschütternd ist der Untergang des Geschlechts.
In dieser Stunde füllen sich die Augen des Schauenden
Mit dem Gold seiner Sterne.

Am Abend versinkt ein Glockenspiel, das nicht mehr tönt,
Verfallen die schwarzen Mauern am Platz,
Ruft der tote Soldat zum Gebet.

Ein bleicher Engel
Tritt der Sohn ins leere Haus seiner Väter.

Die Schwestern sind ferne zu weissen Greisen gegangen.
Nachts fand sie der Schlafer
unter den Säulen im Hausflur,

О, до чего ж одинока кончина вечернего ветра!
Ипуская дыханье, он голову клонит в сумрак оливы.
Потрясающа гибель рода людского и рода.
В этот час созерцателя очи
золотом звезд его полны.

Вечером тонет игра колокольная; только беззвучье.
Черные стены на площади рушатся.
Мертвый солдат призывает к молитве.

Ангелом бледным
сын возвращается в дом своих предков, тот – пуст.

В даль среброликую к старцам сестры ушли незаметно.
Ночью спавший нашел их
под колоннадой в прихожей –

Zurückgekehrt von traurigen Pilgerschaften.

O wie starrt von Kot und Würmern ihr Haar,
Da er darein mit silbernen Füßen steht,
Und jene verstorben aus kahlen Zimmern treten.

O ihr Psalmen in feurigen Mitternachtsregen,
Da die Knechte mit Nesseln die sanften Augen schlugen,
Die kindlichen Früchte des Hollunders
Sich staunend neigen über ein leeres Grab.

Leise rollen vergilbte Monde
Über die Fieberlinnen des Jünglings,
Eh dem Schweigen des Winters folgt.

только что возвратились
с грустных паломничеств дальних.
Но в волосах их – грязь, нечистоты и черви!
Это он видит, стоя вблизи; в серебре его ноги.
А в это время из комнат пустых
ускользают умершие тихо.

75

О, эти псалмы их в огненном шуме дождя полуночном!
Мерно холопы хлещут их кроткие очи крапивой;
детские кисти бузинные изумленно склонились
над опустевшей могилой.

Тихо свершают свой круг пожелтевшие луны
по лихорадке простынной того, кто еще только отрок;
не подступили безмолвные зимы.

Ein erhabenes Schicksal sinnt den Kidron hinab,
Wo die Zeder, ein weiches Geschöpf,

Sich unter den blauen Brauen des Vaters entfaltet,
Über die Weide nachts ein Schäfer seine Herde führt.
Oder es sind Schreie im Schlaf,
Wenn ein eherner Engel im Hain den Menschen antritt,
Das Fleisch des Heiligen auf glühendem Rost hinschmilzt.

Um die Lehmhütten rankt purpurner Wein,
Tönende Bündel vergilbten Korns,
Das Summen der Bienen, der Flug des Kranichs.
Am Abend begegnen sich Auferstandene auf Felsenpfaden.

Молча Кедрона высокий удел опускается к кедру,
вот он раскинулся в плавности линий –

отпрыска кротость –

под голубыми бровями отца в размышленья ушедший.
Там пастух по пастбищам ночью ведет свое стадо.

Или, быть может, это крики во сне,

в том, где бронзовый ангел, в роще застав человека,

плавит плоть его – тело святого –

на раскаленной решетке.

77

Виноградником пурпурным стены увиты

глиняных хижин

и снопами, поющими ветру, желтого жита.

То жужжание пчел, журавлей одиноких пролеты.

По вечерам на скалистых тропинках –

внезапные встречи воскресших.

In schwarzen Wassern spiegeln sich Aussätzige;
Oder sie öffnen die kotbefleckten Gewänder
Weinend dem balsamischen Wind,
der vom rosigen Hügel weht.

Schlanke Mägde tasten durch die Gassen der Nacht,
Ob sie den liebenden Hirten fänden.
Sonnabends tönt in den Hütten sanfter Gesang.

Lasset das Lied auch des Knaben gedenken,
Seines Wahnsinns,
und weisser Brauen und seines Hingangs,
Des Verwesten, der bläulich die Augen aufschlägt.
O wie traurig ist dieses Wiedersehn.

Die Stufen des Wahnsinns in schwarzen Zimmern,
Die Schatten der Alten unter der offenen Tür,
Da Helians Seele sich im rosigen Spiegel beschaut
Und Schnee und Aussatz von seiner Stirne sinken.

An den Wänden sind die Sterne erloschen
Und die weissen Gestalten des Lichts.

Dem Teppich entsteigt Gebein der Gräber,
Das Schweigen verfallener Kreuze am Hügel,
Des Weihrauchs Süsse im purpurnen Nachtwind.

O ihr zerbrochenen Augen in schwarzen Mündern,
Da der Enkel in sanfter Umnachtung

То ступени безумия в комнатах черных,
где в дверях, распахнутых настежь, – древнейшие тени.
Здесь душа Гелиана себя созерцает
в зеркале отсвета розы,
снег и проказа сыпятся вниз с чела Гелиана.

На стенах нет уже звезд, звезды потухли.
А вместе с ними и белые призраки света.

Здесь могильщик прах человеческий
наверх бросает, на травы.
Здесь молчат, завалившись, кресты
на медленных склонах.
Ладана сладость в пурпуре ветра ночного.

Очи ушедших разбиты, ртов обнажились черноты.
И покуда их внук, плавно сходя в помраченье,

Einsam dem dunkleren Ende nachsinnt,
Der stille Gott die blauen Lider über ihn senkt.

NEIGE

2. Fassung

O geistlich Wiedersehn
In altem Herbst.
Gelbe Rosen
Entblättern am Gartenzaun,
Zu dunkler Träne
Schmolz ein grosser Schmerz,
O Schwester!
So stille endet
der goldne Tag.

одинокую думу молчит

о конце неизвестно-кромешном,
тихо Господь веки над ним голубые смыкает.

СКЛОН

2-я редакция

О священство свиданья
с этой осенью древней!
Лепестки осыпают
розы желтые
у садовой калитки.
Смутной слезою
стала великая боль,
о сестра!
В тишине опочил
этот день золотой.

AN JOHANNA

Oft hor' ich deine Schritte
Durch die Gasse lauten.
Im braunen Gärtchen
Die Bläue deines Schattens.

In der dämmernden Laube
Saß ich schweigend beim Wein.
Ein Tropfen Blutes
Sank von deiner Schläfe

In das singende Glas
Stunde unendlicher Schwermut.
Es weht von Gestirnen
Ein schneeiger Wind durch das Laub.

ИОАННЕ

Мелодию твоей походки
в переулке
слушаю снова и снова.
В порыжевшем саду –
синеву твоей тени.

В сумеречной беседке
однажды пил вино я.
Капля крови
с виска твоего упала

в мой стакан, вдруг запевший;
час безбрежной тоски;
запуржило снегами,
шевелинулась листва от созвездий.

Jeglichen Tod erleidet,
Die Nacht der bleiche Mensch.
Dein purpurner Mund
Wohnt eine Wunde in mir.

Als käm' ich von den grünen
Tannenhügeln und Sagen
Unserer Heimat,
Die wir lange vergassen

Wer sind wir? Blaue Klage
Eines moosigen Waldquells,
Wo die Veilchen
Heimlich im Frühling duften.

Всякую смерть повидала
тусклого ночь человека.
Раной во мне поселились
пурпурные твои губы.

Словно пришел я с зеленых
хвойных холмов и сказаний
родины нашей, нами
давно уже позабытой –

кто же мы?
не голубая ли песня плача
мшистой лесной речушки,
где таинственно пахнут
даже фиалки весной?

Ein friedliches Dorf im Sommer
Beschirmte die Kindheit einst
Unsres Geschlechts,
Hinsterbend nun am Abend —

Hügel die weissen Enkel
Träumen wir die Schrecken
Unseres nächtigen Blutes
Schatten in steinerner Stadt.

Мирная деревенька
когда-то летом хранила
детство нашего рода,
и вот он медленно гаснет –

холм, седые внуки;
нам снятся сны о кошмарах
полуночной нашей крови,
о тѣнях в каменном граде.

NÄHE DES TODES

2. Fassung

O der Abend, der in die finsternen Dörfer
der Kindheit geht.

Der Weiher unter den Weiden
Füllt sich mit den verpesteten Seufzern der Schwermut.

O der Wald, der leise die braunen Augen senkt,
Da aus des Einsamen knöchernen Händen
Der Purpur seiner verzückten Tage hinsinkt.

O die Nähe des Todes. Lass uns beten.
In dieser Nacht lösen auf lauen Kissen
Vergilbt von Weihrauch sich der Liebenden
schmächtige Glieder.

БЛИЗОСТЬ СМЕРТИ

2-я редакция

О этот вечер, дремуче ведущий
в детства селенья.

Пруд в объятых ивовой рощи,
зачумленный тоскою взыванья.

О этот лес, что смыкает неслышно
карие очи, когда из костистых
рук Отрешенного дней ускользает
пурпурность, дней его просветленных.

О близость смерти! Позволь нам молиться.
В этой ночи на простынях одиноких
и безучастных, от ладана желтых,
хрупкие мощи влюбленных истлели.

SEBASTIAN IM TRAUM

Für Adolf Loos

1

Mutter trug das Kindlein im weißen Mond,
Im Schatten des Nußbaums, uralten Hollunders,
Trunken vom Safte des Mohns, der Klage der Drossel;
Und stille
Neigte in Mitleid sich über jene ein bärtiges Antlitz

Leise im Dunkel des Fensters; und altes Hausgerät
Der Väter
Lag im Verfall; Liebe und herbstliche Träumerei.

ГРЕЗЯЩИЙ СЕБАСТЬЯН

Адольфу Лоосу

1

93

Мать носила дитя под луною, под белою,
в тени орешника и бузины вековой,
хмельная от маковых соков и плача дрозда;
тихо склонялся над нею
в состраданье великом лик бородатый,

хотя едва был заметен в туманности окон;
и старые праотцев вещи лежали,
дряхлая; любовь, осень, мечтанья.

Also dunkel der Tag des Jahrs, traurige Kindheit,
Da der Knabe leise zu kühlen Wassern,
silbernen Fischen hinabstieg,
Ruh und Antlitz;
Da er steinern sich vor rasende Rappen warf,
In grauer Nacht sein Stern über ihn kam;

Oder wenn er an der frierenden Hand der Mutter
Abends über Sankt Peters herbstlichen Friedhof ging,
Ein zarter Leichnam stille im Dunkel der Kammer lag
Und jener die kalten Lider über ihn aufhob.

Er aber war ein kleiner Vogel im kahlen Geäst,
Die Glocke lang im Abendnovember,

Стало быть – смутный день года, печальное детство,
когда опускался мальчонка тихонько
к водам прохладным, к серебряным рыбам;
Покой и Лицо;
когда ж, камня, он бросился как-то пред воронами,
взбешёнными чем-то, то в серой ночи
звезды наступило над ним восхожденье.

В другой раз он матери руку как лед
держал, когда сквозь погост шли Петера-Санкта
той осенью поздней; вдруг нежный покойник,
что в сумраке склепа лежал тихо-тихо,
поднял на него леденящие веки.

И все же он маленькой птичкой был в роще,
давно облетевшей, игрой колокольной

Des Vaters Stille, da er im Schlaf die dämmernde
Wendeltreppe hinabstieg.

2

Frieden der Seele. Einsamer Winterabend,
Die dunklen Gestalten der Hirten am alten Weiher;
Kindlein in der Hütte von Stroh; o wie leise
Sank in schwarzem Fieber das Antlitz hin.
Heilige Nacht.

ноябрьских вечеров, молчаньем отцовским,
когда в сновидении зыбком спускался
по лестнице шаткой во мгле предрассветной.

2

97

Кротость души одинокой. Вечера зимность.
Смутные пастухов силуэты возле старого пруда;
дитя в шалаше из соломы; о, как незаметно
упадал этот Образ в черноту лихорадки.
Ночь: та, что священна.

Oder wenn er an der harten Hand des Vaters
Stille den finstern Kalvarienberg hinanstieg
Und in dämmernden Felsennischen
Die blaue Gestalt des Menschen durch seine Legende ging,
Aus der Wunde unter dem Herzen purpurn das Blut rann.
O wie leise stand in dunkler Seele das Kreuz auf.

Liebe; da in schwarzen Winkeln der Schnee schmolz,
Ein blaues Lüftchen sich heiter im alten Hollunder fing,
In dem Schattengewölbe des Nussbaums;
Und dem Knaben leise sein rosiger Engel erschien.

В другой раз возле сильной отцовской руки
молча взбирался на утрюмость кальварской¹ вершины,
а в брезжащих нишах межскальных
ритмами мифа шла голубая фигура,
из раны под сердцем пурпуром кровь вытекала.
О, как неслышно крест воссиял в смутной душе!

99

Любовь; по черных углам – таянье снега,
синим ветром орешника старые ветви промыты,
плотные своды лещины;
тогда и явился мальчонке алый тот ангел.

¹ Кальварий – место, обычно специальный сад на горе, где верующими (католиками) инсценированы с помощью икон, скульптур и т.п. муки (страсти) Христовы. Слово восходит к латинскому “calvaria”, что в свою очередь – к арамейскому “golgota”. (Прим. перев.)

Freude; da in kühlen Zimmern eine Abendsonate erklang,
Im braunen Holzgebälk
Ein blauer Falter aus der silbernen Puppe kroch.

O die Nähe des Todes. In steinerner Mauer
Neigte sich ein gelbes Haupt, schweigend das Kind,
Da in jenem März der Mond verfiel.

3

Rosige Osterglocke im Grabgewölbe der Nacht
Und die Silberstimmen der Sterne,
Dass in Schauern ein dunkler Wahnsinn von der Stirne
des Schläfers sank.

О радость; в прохладе вечерней гостиной –
сонаты звучанье,
а сверху на балке коричневой
куколки свет серебристый,
и вдруг голубеющей бабочки самоявленье.

О близость смерти! В каменность мощной стены
уткнулось вершинное золото; смолк и ребенок,
и в марте всё том же зачали лунные лики.

3

Алость пасхальных колоколов в склепе ночи,
серебряных звезд голоса:
благоговейно омыты темным безумьем
уснувшего лба.

O wie stille ein Gang den blauen Fluß hinab
Vergessenes sinnend, da im grünen Geäst
Die Drossel ein Fremdes in den Untergang rief.

Oder wenn er an der knöchernen Hand des Greisen
Abends vor die verfallene Mauer der Stadt ging
Und jener in schwarzem Mantel ein rosiges Kindlein trug,
Im Schatten des Nussbaums der Geist des Bösen erschien.

102

Tasten über die grünen Stufen des Sommers. O wie leise
Verfiel der Garten in der braunen Stille des Herbstes,
Duft und Schwermut des alten Hollunders,
Da in Sebastians Schatten die Silberstimme
des Engels erstarb.

О, как тихо скольжение вниз по синей реке;
оживленье смыслов забытых, когда в зеленых ветвях
дрозд в Закат Чужестранность позвал.

В другой раз, под вечер возле костлявой старца руки
шел вдоль ветшающих стен городских, вдруг
некто в черном плаще, на руках его –

розовый мальчик...

Под тенью лещины тогда дух зла внезапно дохнул.

Наощупь по зеленым ступеням лета. Как незаметно
и кротко сад одряхлел в буром осеннем молчанье;
ароматы старых кустов бузины;

о, эта печаль и тоска их,
когда в тени Себастьяна серебряный ангела голос
умолк безвозвратно.

НА МОНАШЬЕЙ ГОРЕ

2-я редакция

Там, где под тенью вязов осенних вниз,
 чуть приметна, уходит тропа,
вдалеке от лесных шалашей, от лежанок пастушьих, –
неустанно за Странником следует
 образ прохлады туманный,

над мостком каменистым,
 где гиацинтовый мальчика голос
тихо сказку лесную, давно позабытую нами, волхвует;
там Кротко-больное, там плач одичалый брата-монаха.

Also rührt ein spärliches Grün das Knie des Fremdlings,
Das versteinerte Haupt;
Näher rauscht der blaue Quell die Klage der Frauen.

* * *

Die blaue Nacht ist sanft auf unsren Stirnen aufgegangen.
Leise berühren sich unsre verwesten Hände
Süße Braut!

Bleich ward unser Antlitz, mondene Perlen
Verschmolzen in grünem Weihergrund.
Versteinerte schauen wir unsre Sterne.

То колен чужеземца коснулась последняя зелень,
а потом – каменеющих лба его и затылка.
То родник голубой зазвучал, как он близок,
то – женские слезы и плачи.

* * *

107

Синяя ночь возлегла нам нежнейше на веки.
Молча соприкоснулись наши тленные руки.
О, как сладка ты, невеста!

Бледность покрыла нам щеки, белый жемчуг Селены
растворился, мерцая, на дне зеленого пруда.
Окаменевшими видим мы наши с тобою звезды.

O Schmerzliches! Schuldige wandeln im Garten
In wilder Umarmung die Schatten,
Dss in gewaltigem Zorn Baum und Tier über sie sank.

Sanfte Harmonien, da wir in kristallinen Wogen
Fahren durch die stille Nacht
Ein rosiger Engel aus den Gräbern der Liebenden tritt.

О пронзительность боли! Тени, обнявшись пьяно,
бродят по саду преступно,
так что в чудовищном гневе деревья и звери их судят.

Мы же в гармонии кроткой сквозь хрустальные волны
тихую ночь проплываем.

Розовый ангел выходит к нам

из гробницы влюбленных.

PSALM

2. Fassung

Karl Kraus zugeeignet

Es ist ein Licht, das der Wind ausgelöscht hat.

Es ist ein Heidekrug, den am Nachtmittag
ein Betrunkener verlässt.

Es ist ein Weinberg, verbrannt und schwarz
mit Löchern voll Spinnen.

Es ist ein Raum, den sie mit Milch getüncht haben.

Der Wahnsinnige ist gestorben. Es ist eine Insel der Südsee,
Den Sonnengott zu empfangen. Man rührt die Trommeln.
Die Männer führen kriegerische Tänze auf.

ПСАЛОМ

2-я редакция

Карлу Краусу посвящается

111

То свеча, задул ее ветер.

То деревенский кабак,

незнакомец в подпитье изрядном

вышел и в сумерках сгинул.

То виноградник; кто его выжег?

черный, в гнездах паучьих.

То комната, выбеленная молочно.

Умер безумец. То остров в южных морях,

здесь Бога Солнца встречают. Бьют барабаны.

Воинственны танцы мужчин.

Die Frauen wiegen die Hüften in Schinggewächsen
und Feuerblumen,
Wenn das Meer singt. O unser verlorenes Paradies.

Die Nymphen haben die goldenen Wälder verlassen.
Man begräbt den Fremden. Dann hebt
ein Flimmerregen an.

Der Sohn des Pan erscheint in Gestalt eines Erdarbeiters,
Der den Mittag am glühenden Asphalt verschläft.
Es sind kleine Mädchen in einem Hof in Kleidchen
voll herzzereissender Armut!

Es sind Zimmer, erfüllt von Akkorden und Sonaten.
Es sind Schatten, die sich vor einem erblindeten
Spiegel umarmen.

An den Fenstern des Spitals wärmen sich Genesende.
Ein weisser Dampfer am Kanal trägt blutige Seuchen herauf.

Жены, увиты гирляндами
и фейерверком цветочным, бедрами мерно играют,
а море в такт им поет. О наш потерянный Рай!

Нимфы уже и давно покинули золото рощи.
Погребают пришельца.

Дождик слепой вдруг пошёл.

113

Пана потомок, землемером прикинувшись тонко,
на асфальте расплавленном спит, позабыв об обеде.
А малышки дворовые – в платяницах ветхих настолько,
что жаль их до боли.

То квартира, в которой аккорды живут и сонаты.
Перед зеркалом (тотчас же слепнет оно)

обнимаются тени.

А в окнах больничных греются те,
кто идут на поправку.

Тащит вверх по реке белый катер чумы кровавые дроги.

Die fremde Schwester erscheint wieder in jemand's
bösen Träumen.
Ruhend im Haselgebüsch spielt sie mit seinen Sternen.
Der Student, vielleicht ein Doppelgänger, schaut ihr lange
vom Fenster nach.
Hinter ihm steht sein toter Bruder, oder er geht die alte
Wendeltreppe herab.
Im Dunkel brauner Kastanien verblasst die Gestalt
des jungen Novizen.
Der Garten ist im Abend. Im Kreuzgang flattern
die Fledermäuse umher.
Die Kinder des Hausmeisters hören zu spielen auf
und suchen das Gold des Himmels.
Endakkorde eines Quartetts. Die kleine Blinde
läuft zitternd durch die Allee,
Und später tastet ihr Schatten an kalten Mauern hin,
umgeben von Märchen und heiligen Legenden.

Снова чья-то сестра появляется
в мрачных мечтах незнакомца.
В лещины кустах в его звезды блаженно играет она.
Студент, быть может двойник,
долго-долго за ней из окна наблюдает.
Сзади брат умерший стоит, а может спускается вниз
по лестнице ветхой, по винтовым ее маршам.
Силуэт растворяется в сумраке бурых каштанов,
то юный послушник.
А в саду уже вечер. В галерее – летучих мышей
стремительны вспорхи.
Дворника дети, отыгравши все игры,
начинают странствовать в поисках золота неба.
То аккорды финала квартета.
Слепая малышка, дрожа, бежит по аллее,
и вот ее тень уже жметя к стенам холодным,
а вокруг – лишь сказок и мифов священство.

Es ist ein leeres Boot, das am Abend
den schwarzen Kanal heruntertreibt.
In der Düsternis des alten Asyls verfallen
menschliche Ruinen.
Die toten Waisen liegen an der Gartenmauer.
Aus grauen Zimmern treten Engel
mit kotgefleckten Flügeln.
Würmer tropfen von ihren vergilbten Lidern.
Der Platz vor der Kirche ist finster und schweigsam, wie
in den Tagen der Kindheit.
Auf silbernen Sohlen gleiten frühere Leben vorbei
Und die Schatten der Verdammten steigen zu den
seufzenden Wassern nieder.
In seinem Grab spielt der weiße Magier
mit seinen Schlangen.
Schweigsam über der Schädelstätte öffnen sich
Gottes goldene Augen.

Лодка пустая вечером вниз плывет по чернотам канала.
В сумраке древних убежищ догнивает прах человеческий.
Под садовой стеной двое бездомных

недавно скончались.

Из пепельных комнат ангелы вышли,

калом испачкавши крылья.

Капают черви с их век, с век пожелтевших.

Перед церковью площадь всё так же мрачна

и безмолвна, как в детстве.

На ступнях серебристых скользят, ускользя,

наши прежние жизни.

Обреченные тени уходят к стонущим водам.

А в одном из склепов могильных

белый маг со змеями играет.

Отверзаются молчаливо над Лобным местом

златые Господние очи.

DIE SONNENBLUMEN

Ihr goldenen Sonnenblumen,
Innig zum Sterben geneigt,
Ihr demutsvollen Schwestern
In solcher Stille
Endet Helians Jahr
Gebirgiger Kühle.

Da erbleicht von Küssen
Die trunkne Stirn ihm
Inmitten jener goldenen
Blumen der Schwermut
Bestimmt den Geist
Die schweigende Finsternis.

ПОДСОЛНУХИ

Золотые подсолнухи,
сокровенностью к смерти склоненные.
Кроткие братья и сестры,
в тишине – вот она, ваша –
Гелиана кончается год.
Год свежести гор.

Лоб упоенный его
от поцелуев становится белым,
а в это время некто Другой
цветы золотые печали
духу приносит и прочит
безмолвию тьмы.

HOHENBURG

2. Fassung

Es ist niemand im Haus. Herbst in Zimmern;
Mondeshelle Sonate
Und das Erwachen am Saum des dämmernden Walds.

Immer denkst du das weisse Antlitz des Menschen
Ferne dem Getümmel der Zeit;
Über ein Träumendes neigt sich gerne grünes Gezweig,

Kreuz und Abend;
Umfährt den Tönenden mit purpurnen Armen sein Stern,
Der zu unbewohnten Fenstern hinaufsteigt.

ХОЭНБУРГ²

Вторая редакция

Дома пустыньность; в комнатах – осень;
лунно свеченье сонаты,
внезапное пробужденье на краю рассветного леса.

121

Неотступные мысли о лике седом человека,
что оставил в далёкости дальней суматошное время;
над сновиденным нежно склонилась зеленая ветка;

крест и вечер;
обнимают поющего звезд его пурпурных руки,
прикасаясь к пустынно-заброшенным окнам.

² Хоэнбург – название поместья Рудольфа фон Фикера (друга Тракля).

Also zittert im Dunkel der Fremdling,
Da er leise die Lider über ein Menschliches aufhebt,
Das ferne ist; die Silberstimme des Windes im Hausflur.

ABEND IN LANS

2. Fassung

122

Wanderschaft durch dämmernden Sommer
An Bündeln vergilbten Korns vorbei.
Unter getünchten Bogen,
Wo die Schwalbe aus und ein flog, tranken
wir feurigen Wein.

Так что дрожь пробирает во тьме чужестранца,
когда тихие веки свои поднимает
он поверх человеческого смысла; как далёк уже он;
голос серебряный ветра в прихожей.

123

ВЕЧЕР В ЛАНСЕ

2-я редакция

Пешее странствие по сумеречному лету
Мимо снопов пожелтевшего жита.

Под свежевыбеленной аркой,
Где ласточка бойко порхала,
пили мы огненные напитки.

Schön: o Schwermut und purpurnes Lachen.
Abend und die dunklen Düfte des Grüns
Kühlen mit Schauern die glühende Stirne uns.

Silberne Wasser rinnen über die Stufen des Walds,
Die Nacht und sprachlos ein vergessenes Leben.
Freund; die belaubten Stege ins Dorf.

SIEBENGESANG DES TODES

Bläulich dämmert der Frühling;
unter saugenden Bäumen
Wandert ein Dunkles in Abend und Untergang,
Lauschend der sanften Klage der Amsel.

Как прекрасно: тоска и пурпурный хохот.
И вечер, и запахи зелени, смутно-неведомы,
Охлаждали ознобно пламенность наших голов.

Серебристые воды по леса ступеням текли,
И по ночи, и по всей нашей жизни,
в молчанье окружном забытой.

125 Друг; тропинка в деревню сквозь гущу листвы.

СЕМИПСАЛМИЕ СМЕРТИ

Голубея, дымится весна; меж деревьями –
о, как они пьют! –
Смутность движется в вечер, в закат,
К нежным плачам дрозда приникая всем слухом.

Schweigend erscheint die Nacht, ein blutendes Wild,
Das langsam hinsinkt am Hügel.

In feuchter Luft schwankt blühendes Apfelgezwig,
Löst silbern sich Verschlungenes,
Hinsterbend aus nächtigen Augen; fallende Sterne;
Sanfter Gesang der Kindheit.

Erscheinender stieg der Schläfer
den schwarzen Wald hinab,
Und es rauschte ein blauer Quell im Grund,
Daß jener leise die bleichen Lider aufhob
Über sein schneeiges Antlitz;

Und es jagte der Mond ein rotes Tier
Aus seiner Höhle;
Und es starb in Seufzern die dunkle Klage der Frauen.

Молча является ночь, зверь, кровавящий след свой,
Медленно никнувший рядом с холмом.

В воздухе влажном цветущей яблони ветви дрожат;
Серебрясь, растворяется всё, что сплелось,
Медленно гаснет в глазах, куда вошла ночь;
падают звезды;

Кроткий детства псалом.

127

Призраком спящий спускался к черному лесу;
Из земли вдруг родник голубой ему песню запел,
Он неслышно белые веки поднял
На заснеженном лице своем.

А луна всё за зверем красным гналась
От самой пещеры его;
В столах умер он; в смутных воплицих плачах.

А тот, что светился, к звезде своей руки воздел,
Седой чужестранец;
Молча покойник покинул дом отчий в руинах.

О проект человека прогнивший:
Формовка холодных металлов,
Ночь-ужас лесов затонувших,
Пылающей чащи звериной;
Ни дуновения в душах.

На чернеющей лодке тот, другой –
Вниз по свеченью потока,
Полный пурпурных звезд;
Благословенно и свыше
Осененный веткой цветущей,
Мак – из серебряной тучи.

UNTERGANG

5. Fassung

An Karl Borromaeus Heinrich

Über den weißen Weiher
Sind die wilden Vögel fortgezogen.
Am Abend weht von unseren Sternen ein eisiger Wind.

Über unsere Gräber
Beugt sich die zerbrochene Stirne der Nacht.
Unter Eichen schaukeln wir auf einem silbernen Kahn.

Immer klingen die weissen Mauern der Stadt.
Unter Dornenbogen

ЗАКАТ

5-я редакция

Карлу Борromeусу Хайнриху

131

Над озером белым
в даль устремились дикие птицы.
Вечером дует от наших созвездий ветер леденящий.

Над могилой твоей и моей
ночь склонила разбитый свой лоб.
Под дубами качаемся мы в серебряной лодке.

Стены белые города непрерывно звенящи.
Под терновыми сводами, о брат мой,

O mein Bruder klimmen wir blinde Zeiger
gen Mitternacht.

NACHTS

Die Bläue meiner Augen ist erloschen in dieser Nacht,
Das rote Gold meines Herzens.

O! wie stille brannte das Licht.

Dein blauer Mantel umfing den Sinkenden;
Dein roter Mund besiegelte des Freundes Umnachtung.

132

IN VENEDIG

Stille in nächtigem Zimmer.
Silbern flackert der Leuchter

мы слепые стрелки часов,
что упорно в полночь ползут.

НОЧЬЮ

Синева моих глаз погасла в этой Ночи,
Красное золото сердца моего.

О, как тихо сгорел этот огонь!

Твой плащ голубой укрыл упавшего вниз.

Пунцовый твой рот печатью скрепил погружение
друга во мрак.

В ВЕНЕЦИИ

В комнате ночью так тихо.
Серебристо мерцает подсвечник.

Vor dem singenden Odem
Des Einsamen;
Zaubrisches Rosengewölk.

Schwärzlicher Fliegenschwarm
Verdunkelt den steinernen Raum
Und es starrt von der Qual
Des goldenen Tags das Haupt
Des Heimatlosen.

Reglos nachtete das Meer.
Stern und schwärzliche Fahrt
Entschwand am Kanal.
Kind, dein kränkliches Lächeln
Folgte mir leise im Schlaf.

Песня дыханья;
Одиночество;
Розовых туч волшебство.

Стаи мушиной круженье
Затемняет межкаменный воздух.
До предела наполнена
Мукою дня золотого
Голова чужестранца.

Темное море недвижно.
Звезда и чернеющий след
Исчезают в Канале.
О дитя, боли улыбка твоя так тиха,
В сновиденье со мной погружаясь.

DE PROFUNDIS

Es ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer Regen fällt.
Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht.
Es ist ein Zischelwind, der leere Hütten umkreist.
Wie traurig dieser Abend.

Am Weiler vorbei
Sammelt die sanfte Waise noch spärliche Ähren ein.
Ihre Augen weiden rund und goldig in der Dämmerung
Und ihr Schoß harrt des himmlischen Bräutigams.

Bei der Heimkehr
Fanden die Hirten den süßen Leib
Verwest im Dornenbusch.

DE PROFUNDIS

Сечёт черный дождь эти сжатые нивы.
Всё темней бурый ствол, что стоит на отшибе.
Кружит ветер, свистя, между изб опустелых.
Как вечер печален!

137

Возле деревни
кроткая бредет сиротка, ищет колосья.
В сумерках ее очи пасутся золотисто-округло.
Лоно жениха небесного ищет.

Домой возвращаясь,
нашли пастухи ее сладкую плоть
уже тлеющей в чаще лещинной.

Ein Schatten bin ich ferne finsternen Dörfern.
Gottes Schweigen
Trank ich aus dem Brunnen des Hains.

Auf meine Stirne tritt kaltes Metall
Spinnen suchen mein Herz.
Es ist ein Licht, daß in meinem Mund erlöscht.

Nachts fand ich mich auf einer Heide,
Starrend von Unrat und Staub der Sterne.
Im Haselgebüsch
Klangen wieder kristallne Engel.

Я – тень этих мрачных селений.
Я Божье молчание пью
из источника в роще.

На лбу моем хладная поступь металла.
Ищут сердце сети паучьи.
Но вот он – свет, что во рту моем гаснет.

Ночью нашел себя в поле внезапно
осыпанным звездною пылью и сором.
В орешника кущах прозрачные ангелы
пели мне снова.

* * *

Finster blutet ein braunes Wild im Busch;
Einsam der Blinde, der über verfallene Stufen herabsteigt.
Im Zimmer die dunklen Flöten des Wahnsinns.

Mit Schnee und Aussatz füllt sich die kranke Seele,
Da sie am Abend ihr Bild im rosigen Weiher beschaut.
Verfallene Lieder öffnen sich weinend im Haselgebüsch.
O der Blinde,
Der schweigend über verfallene Stufen hinabsteigt
im Dunkel.
Im Dunkel sinken Helians Augen.

* * *

Кровью в кустах истекает, в тоске и тревоге,
бурая дикая птица.

Одинокий слепой спускается
по прогнившим ступеням.

В комнате – смутные флейты безумья.

141

Изболевшись, душа наполняется снегом с проказой,
созерцая свой образ вечерний в розовом пруде.

Дряхлые веки в орешник возносятся, плача.

О слепец,

ты спускаешься молча во мрак

по прогнившим ступеням.

В темноте закрываются сами собою глаза Гелиана.

RUH UND SCHWEIGEN

Hirten begruben die Sonne im kahlen Wald.
Ein Fischer zog
In härenem Netz den Mond aus frierendem Weiher.

In blauem Kristall
Wohnt der bleiche Mensch,
die Wang' an seine Sterne gelehnt;
Oder er neigt das Haupt in purpurnem Schlaf.

Doch immer rührt der schwarze Flug der Vögel
Den Schauenden, das Heilige blauer Blumen,
Denkt die nahe Stille Vergessenes, erloschene Engel.

ПОКОЙ И БЕЗМОЛВИЕ

Солнце в землю зарыли
пастухи в лесу опустевшем.
Ветхою сетью рыбак
тащит луну из продрогшего пруда.

143

В голубоватом кристалле
блекло живет человек,
к звезде щекою прижавшись:
да не упадет голова в сновиденный пурпур.

Но неизменно созерцатель захвачен
черным птичьим полетом; священство цветов голубых;
о Позабытом грезит он в тишине, что так близко;
ангел потухший.

Wieder nachtet die Stirne in mondenem Gestein;
Ein strahlender Jüngling
Erscheint die Schwester in Herbst
und schwarzer Verwesung.

DER WANDERER

2. Fassung

Immer lehnt am Hügel die weisse Nacht,
Wo in Silbertönen die Pappel ragt,
Stern' und Steine sind.

Schlafend wölbt sich über den Gießbach der Steg,
Folgt dem Knaben ein erstorbenes Antlitz,
Sichelmond in rosiger Schlucht

Снова стража ночная лба сквозь лунные камни;
осень; в черном распаде
снова к сестре тоскует светящийся отрок.

СТРАННИК

Вторая редакция

145

Снова к Холму белая ночь прислонилась,
где в серебристой мелодии высится тополь;
вот они – звезды и камни.

Сонно-изгибиста тропка над горным потоком,
за мальчуганом вослед – умершего дух,
серп полумесяца в розовой бездне

славят вдали пастухи. В старых камнях
жаба пялит хрустальные очи свои,
просыпается ветер цветочный;
птичий голос Сродного-мертвым
и шаги его тихие, в прозелень, в роще.

147

Вспоминает о дереве он и о звере.
Как медлительна мшистость ступеней!
И луна, что, мерцая, в печальные воды уходит.

Возвращается он, по зеленому берегу бродит,
и на черной гондоле скользит по развалинам града.

GESANG DES ABGESCHIEDENEN

An Karl Borromaeus Heinrich

Voll Harmonien ist der Flug der Vögel.

Es haben die grünen Wälder

Am Abend sich zu stilleren Hütten versammelt;

Die kristallinen Weiden des Rehs.

Dunkles besänftigt das Plätschern des Bachs,

die feuchten Schatten

Und die Blumen des Sommers, die schon im Winde läuten.

Schon dämmert die Stirne dem sinnenden Menschen.

Und es leuchtet ein Lämpchen, das Gute,

in seinem Herzen

ПЕСНЬ ОТРЕШЕННОГО

Карлу Борромеусу Хайнриху

Мелодия птичьего полета. Зеленые перелески
по вечерам льнут к шалашам молчаливым.

Хрустально пастбище лани.

Туманная смутность нежит журчащий ручей,

влажные тени

149

и лета цветы; как прекрасен их звон на ветру!

Но уже уходит в сумрак чело задумавшегося человека.

Светится лампочка – доброта – в его сердце,

и трапезы умиротворенность;

ибо освятили хлеб и вино

Господние руки, и из ночи очей

тихо брат тебя созерцает,

отдыхая после странствий тернистых.

О житие в одушевленной Сини ночной!

151

Так же любя обнимает молчание комнаты

праотцев тени,

пурпур страдательный предков, плач великого рода,

тот, что кротко сейчас умирает

в груди одинокого внука.

Ибо разве не в осиянье восходит

из черных безумья минут

тот, кто претерпел у окаменевшего порога,

Und es umfängt ihn gewaltig die kühle Bläue und die
leuchtende Neige des Herbstes,

Das stille Haus und die Sagen des Waldes,
Maß und Gesetz und die mondenen Pfade
der Abgeschiedenen.

ABENDLIED

152

Am Abend, wenn wir auf dunklen Pfaden gehn,
Erscheinen unsere bleichen Gestalten vor uns.

Wenn uns dürstet,
Trinken wir die weißen Wasser des Teichs,
Die Süße unserer traurigen Kindheit.

разве не обнимает его мощно прохладная голубизна
и светящийся склон осенний,

и тихий дом, и сага этого леса,
и эта мера, и этот закон, и лунные тропы усопших.

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Когда на туманные тропы мы вечерами выходим,
бледные образы наши встают и идут перед нами.

Когда же мы жаждем,
то припадаем к белой озера влаге,
к сладости грустного детства.

Erstorbene ruhen wir unterm Hollundergebüsch,
Schaun den grauen Möven zu.

Frühlingsgewölke steigen über die finstere Stadt,
Die der Mönche edlere Zeiten schweigt.

Da ich deine schmalen Hände nahm
Schlugst du leise die runden Augen auf,
Dieses ist lange her.

Doch wenn dunkler Wohllaut die Seele heimsucht,
Erscheinst du Weiße in des Freundes herbstlicher
Landschaft.

Когда умираем, то мирно лежим под бузиною тенью,
следа за полетами чаек, их крыл серебристых.

Восходят весенние тучи над мрачностью града,
который молчит о монахах эпох благородных.

155

Когда я однажды взял твои узкие руки,
ты тихо глаза свои изумленно раскрыла.
Давно это было.

Когда же туманная музыка душу мою настигает,
в осенний друга ландшафт ты белою краской
приходишь.

STUNDE DES GRAMS

Schwärzlich folgt im herbstlichen Garten der Schritt
Dem glänzenden Mond,
Sinkt an frirender Mauer die gewaltige Nacht.
O, die dornige Stunde des Grams.

Silbern flackert im dämmernden Zimmer
der Leuchter des Einsamen,
Hinsterbend, da jener ein Dunkles denkt
Und das steinerne Haupt über Vergängliches neigt,

Trunken von Wein und nächtigem Wohllaut.
Immer folgt das Ohr
Der sanften Klage der Amsel im Haselgebüsch.

ЧАС СКОРБИ

Ритмом лунных мерцаний –
путь в чернотах осеннего сада.
Припала к продрогшей стене эта могучая ночь.
О, терновый час скорби!

157

В сумерках комнат серебряный свет –
Отрешенного лампа.
Угасая, слабея, он задумчив о Смутно-туманном.
Голова каменеет, над Уходящим склоняясь;
винный хмель и блаженные отзвуки ночи.
Ухо следует кроткому плачу дрозда,
там – в лещины кустах.

Dunkle Rosenkranzstunde. Wer bist du
Einsame Flöte,
Stirne, frierend über finstere Zeiten geneigt.

DIE RATTEN

In Hof scheint weiß der herbstliche Mond.
Vom Dachrand fallen phantastische Schatten.
Ein Schweigen in leeren Fenstern wohnt;
Da tauchen leise herauf die Ratten

Und huschen pfeifend hier und dort
Und ein gräulicher Dunsthauch wittert
Ihnen nach aus dem Abort,
Den geisterhaft der Mondschein durchzittert

О, как смутен молитвенный час! Кто ты –
отрешенная флейта,
чело ли, что холодея склонилось
над времени черным провалом?

КРЫСЫ

159

Белым светом осенней луны залит двор.
От карнизов под крышею – фантастические тени.
Молчание в пустых окнах затаилось как вор.
Крысы неслышно выходят, заполняя ходы и ступени.

И, попискивая, мелькают уже то там, то тут,
И ужасающий смог движется за ними следом
Из уборной, где они что-то жрут,
И где луна пронизывает всё
призрачно-дрожащим светом.

Und sie keifen vor Gier wie toll
Und erfüllen Haus und Scheunen,
Die von Korn und Früchten voll.
Eisige Winde im Dunkel greinen.

AN DEN KNABEN ELIS

Elis, wenn die Amsel im schwarzen Wald ruft,
Dieses ist dein Untergang.
Deine Lippen trinken die Kühle des blauen Felsenquells.

Laß, wenn deine Stirne leise blutet
Uralte Legenden
Und dunkle Deutung des Vogelflugs.

Du aber gehst mit weichen Schritten in die Nacht,
Die voll purpurner Trauben hängt
Und du regst die Arme schöner im Blau.

Ein Dornenbusch tönt,
Wo deine mondenen Augen sind.
O, wie lange bist, Elis, du verstorben.

Dein Leib ist eine Hyazinthe,
In die ein Mönch die wächsernen Finger taucht.
Eine schwarze Höhle ist unser Schweigen,

Daraus bisweilen ein sanftes Tier tritt
Und langsam die schweren Lider senkt.
Auf deine Schläfen tropft schwarzer Tau,

Das letzte Gold verfallener Sterne.

Но – уходишь ты мягкой походкою в ночь,
в виноградников пурпур, стоящий стеною.
Но прекрасны движения рук в синеве.

Куст терновый поет,
когда чувствует лунный твой взгляд.
О, как умер ты, Элис, давно!

163

Твоя плоть – гиацинт,
то в него погружает монах восковые персты.
А молчание наше? то черная полость пещеры,

из которой является изредка зверь нежно-кроткий,
опускающий медленно тяжкие веки свои.
На виски твои, Элис, черная каплет роса;

то последнее золото этих гибнущих звезд.

ELIS

3. Fassung

1

Vollkommen ist die Stille dieses goldenen Tags.
Unter alten Eichen
Erscheinst du, Elis, ein Ruhender mit runden Augen.

Ihre Bläue spiegelt den Schlummer der Liebenden.
An deinem Mund
Verstummt ihre rosigen Seufzer.

ЭЛИС

3-я редакция

1

165

Этого дня золотого тишина совершенна.

Под кроною старых дубов
ты являешься, Элис, спокойный,
с удивленьем во взоре.

В синеве твоих глаз отражённа полудрема влюбленных.
На губах твоих
шепоты их, розоподобные, тихнут.

Am Abend zog der Fischer die schweren Netze ein.
Ein guter Hirt
Führt seine Herde am Waldsaum hin.
O! wie gerecht sind, Elis, alle deine Tage.

Leise sinkt
An kahlen Mauern des Ölbaums blaue Stille,
Erstirbt eines Greisen dunkler Gesang.

Ein goldener Kahn
Schaukelt, Elis, dein Herz am einsamen Himmel.

По вечерам тащит на берег рыбарь тяжелые сети.
Добрый пастух
стадо выводит из леса.
О! как чисты все, без изъятия, дни твои,
Элис!

Молча у голой стены
тишина голубая оливы склонилась,
старца смутная песня тихо угасла.

Челн золотой,
то твое сердце, о Элис,
в небесах одиноких качается тихо!

Ein sanftes Glockenspiel tönt in Elis' Brust
Am Abend,
Da sein Haupt ins schwarze Kissen sinkt.

Ein blaues Wild
Blutet leise im Dornengestrüpp.

Ein brauner Baum steht abgeschieden da;
Seine blauen Früchte fielen von ihm.

Zeichen und Sterne
Versinken leise im Abendweiher.

Hinter dem Hügel ist es Winter geworden.

Нежные колокольные звоны Элиса грудь наполняют,
едва вглубь черной подушки голова его
вечером никнет.

Синий зверь одичалый, раненый, кровоточит
молча в терновника чаще.

169

Дерево, в темную желть погружаясь,
стоит одно на отшибе;
голубые плоды его падают с веток пустынных.

Знаки и звезды чуть слышно
тонут в водах вечерних.

А за Холмом уже зимы, может быть, наступили.

Blaue Tauben

Trinken nachts den eisigen Schweiß,
Der von Elis' kristallener Stirne rinnt.

Immer tönt

An schwarzen Mauern Gottes einsamer Wind.

Голуби голубые
по ночам пот холодный вкушают,
что по лбу хрустальному Элиса струится.

Но поет и поет
возле черных стен
одинокий Господа ветер.

ABENDLAND

4. Fassung

Else Lasker-Schüler in Verehrung

1

Mond, als träte ein Totes
Aus blauer Höhle,
Und es fallen der Blüten
Viele über den Felsenpfad.
Silbern weint ein Krankes
Am Abendweiher,
Auf schwarzem Kahn
Hinüberstarben Liebende.

ЗАПАД

4-я редакция

Эльзе Ласкер-Щюлер посвящается

1

173

Луна, словно из голубой пещеры
Покойник вышел,
И хлынули соцветья лепестков
На тропы между скал.
Серебряные плачи: то Болящее
Близ пруда сумерек,
Влюбленные на черной лодке,
Переправляясь, умерли.

Oder es läuten die Schritte
Elis' durch den Hain
Den hyazinthenen
Wieder verhallend unter Eichen.
O des Knaben Gestalt
Geformt aus kristallinen Tränen,
Nächtigen Schatten.
Zackige Blitze erhellen die Schläfe
Die immerkühle,
Wenn am grünenden Hügel
Frühlingsgewitter ertönt.

Но Элиса шаги
Звучат еще по этой роще
По гиацинтовой,
Под дубами затихая как и прежде.
О силуэт подростка,
Сформованный из слёз его хрустальных
Да из теней ночных.
Когда весенняя гроза
Возле зеленого холма поёт,
Зигзаги молний
На лбу и на висках его, всегда холодных,
Блестательны.

So leise sind die grünen Wälder
Unserer Heimat,
Die kristallne Woge
Hinsterbend an verfallner Mauer
Und wir haben im Schlaf geweint;
Wandern mit zögernden Schritten
An der dornigen Hecke hin
Singende im Abendsommer,
In heiliger Ruh
Des fern verstrahlenden Weinbergs;
Schatten nun im kühlen Schoß
Der Nacht, trauernde Adler.
So leise schließt ein mondener Strahl
Die purpurnen Male der Schwermut.

Какая тишина в лесах зеленых
Отчизны нашей!
Хрустальная волна
Вновь умирает у дряхлеющей плотины,
И мы, заплаканы во сне;
Шагами трепетными странствуем
Вдоль изгородей в зарослях шиповных,
Поем по вечерам (о лето, лето)
Покой священный
Виноградников, промытых далеко сквозящими лучами;
А вот уже и тени на груди прохлады,
То ночь, орел печальный.
Неслышно лунный луч кладет
Пурпурный знак тоски венчающей.

Ihr großen Städte
Steinern aufgebaut
In der Ebene!
So sprachlos folgt
Der Heimatlose
Mit dunkler Stirne dem Wind,
Kahlen Bäumen am Hügel.
Ihr weithin dämmernden Ströme!
Gewaltig ängstet
Schaurige Abendröte
Im Sturmgewölk.
Ihr sterbenden Völker!
Bleiche Woge
Zerschellend am Strande der Nacht,
Fallende Sterne.

Громады городские,
Как вы взметнулись каменно,
Подмяв равнину!
Сколь бессловесно наблюдает
Здесь безродный с затуманенным челом
За ветром,
За обнаженностью деревьев у холма.
О вы, потоки, брезжащие вдалеке!
Могучий страх
Закатов жутких, повечерий
Сквозь облачные ураганы.
Вы, умирающие племена!
Бледна волна,
Что в берег Ночи бьется,
Звезд низвержение.

IM FRÜHLING

Leise sank von dunklen Schritten der Schnee,
Im Schatten des Baums
Heben die rosigen Lider Liebende.

Immer folgt den dunklen Rufen der Schiffer
Stern und Nacht;
Und die Ruder schlagen leise im Takt.

Balde an verfallener Mauer blühen
Die Veilchen,
Ergrünt so stille die Schläfe des Einsamen.

ВЕСНОЙ

Тихо снег прогибается под темнеющим шагом.
О, как розовы веки любимой
под тенями деревьев!

Только зовам плывущий в лодке покорен,
зовам смутным, туманным;
ночь и звезда;
вёсла в такт ударяют чуть слышно.

У развалин стены
проглянут фиалки вот-вот;
зазеленеют утайно
сны Отрешенного.

AM ABEND

2. Fassung

Noch ist gelb das Gras, grau und schwarz der Wald;
Aber am Abend dämmert ein Grün auf.
Der Fluß kommt von den Bergen kalt und klar
Tönt im Felsenversteck; also tönt es,
Wenn du trunken die Beine bewegst; wilder Spaziergang
Im Blau; und die entzückten Schreie der Vögelchen.
Die schon sehr dunkel, tiefer neigt
Die Stirne sich über bläuliche Wasser, Weibliches;
Untergehend wieder in grünem Abendgezwieg.
Schritt und Schwermut tönt einträchtig
in purpurner Sonne.

ВЕЧЕРОМ

2-я редакция

Трава желта еще, а лес – то сер, то чёрен.

Но вечером уже дымится зелень.

И с гор река идет, хладна, чиста,
поет в протоке скальном тайно, тихо.

183

И тот же звук, когда бредешь чуть пьяный,
и всё – в ногах: путь дикий в Синеве;

и птички восхищенные трезвонят.

И вот уж тьма совсем, все глубже, глубже
ты голову склоняешь на источник, на голубую воду,
бабье лоно!

И снова возвращаешься в закат в зеленой роще.

И шаг твой и тоска звучат мелодией одной
сквозь пурпур солнца.

NÄCHTLICHE KLAGE

1. Fassung

Die Nacht ist über der zerwühlten Stirne aufgegangen
Mit schönen Sternen
Am Hügel, da du von Schmerz versteinert lagst,

Ein wildes Tier im Garten dein Herz fraß.
Ein feuriger Engel
Liegst du mit zerbrochener Brust auf steinigem Acker,

Oder ein nächtlicher Vogel im Wald
Unendliche Klage
Immer wiederholend in dornigem Nachtgezwig.

НОЧНЫЕ СЛЕЗЫ

1-я редакция

Над помутившимся лбом взошла
прекрасными звездами ночь
на Холме, где, каменя от боли, лежал ты простёрт,

185

дикий зверь пожирал твое сердце в саду.
И вот, пылающий ангел на каменном поле,
лежишь ты с разорванной грудью

или птицей ночью в лесу
бесконечно жалобу льешь
вновь и вновь сквозь колючие ветви ночные.

DER HEILIGE

Wenn in der Hölle selbstgeschaffener Leiden
Grausam-unzüchtige Bilder ihn bedrängen
- Kein Herz ward je von lasser Geilheit so
Berückt wie seins, und so von Gott gequält
Kein Herz - hebt er die abgezehrten Hände,
Die unerlösten, betend auf zum Himmel.
Doch formt nur qualvoll-ungestillte Lust
Sein brünstig-fieberndes Gebet, des Glut
Hinströmt durch mystische Unendlichkeiten.
Und nicht so trunken tönt das Evox
Des Dionys, als wenn in tödlicher,
Wutgeifernder Ekstase Erfüllung sich
Erzwingt sein Qualschrei: Exaudi me, o Maria!

СВЯТОЙ

Когда в аду самозарождающихся страданий
его одолевают развязно-развратные образы –
никогда еще ни одно сердце не подвергалось
таким неистовым обольщениям сладострастья

и одновременно

187

было столь мучительно захвачено Богом,

ни одно сердце –

он воздевает молитвенно к небу истощенные,
безблагодатные руки, однако

страстно-возбужденная молитва, чей жар устремлен
в мистическую бесконечность,

производит лишь мучительно-неутолимую похоть.

И даже вопли Диониса звучат

не столь хмельно и пьяно,

* * *

Nimm blauer Abend eines Schläfe, leise ein Schlummerndes
Unter herbstlichen Bäumen, unter goldener Wolke.
Anschaut der Wald; als wohnte der Knabe ein blaues Wild
In der kristallinen Woge des kühlen Quells
So leise schlägt sein Herz in hyazinthener Dämmerung,
Trauert der Schatten der Schwester, ihr purpurnes Haar;
Dieses flackert im Nachtwind. Versunkene Pfade

как в смертельном, бешено-разъяренном,
достигшем финала экстазе
его мучительный вопль сам себя разрывает:

Exaudi, me, o Maria!³

* * *

189

Прими синий вечер этого сна, тихую полуявь
под деревьями осени, под облаком золотистым.
Лес наблюдателен; мальчик здесь жил,

синяя дикая птичка

в хрустальной волне пролады ручья.

О, как тихо сердце билось его в гиацинтовых сумерках,
где печалился призрак сестры, пурпур волос ее.
Как их ветер ночной развевал! Затонувшие тропы,

³ Услышь меня, о Мария! (лат.)

Nachtwandelt jener und es träumt sein roter Mund
Unter verwesenden Bäumen; schweigend umfängt
Des Weihers Kühle den Schläfer, gleitet
Der verfallene Mond über seine schwärzlichen Augen.
Sterne versinkend im braunen Eichengeäst.

ABENDLÄNDISCHES LIED

190

O der Seele nächtlicher Flügelschlag:
Hirten gingen wir einst an dämmernden Wäldern hin
Und es folgte das rote Wild, die grüne Blume
und der lallende Quell
Demutsvoll. O, der uralte Ton des Heimchens,
Blut blühend am Opferstein

ночами здесь кто-то бродяжил,
рот его красный мечтателен
под тленом гниющих деревьев; озерность прохлады
спящего молча держит в объятьях, лунная гибельность
по глазам, в черноту уходящим, пробегает скользяще.
Звезды в бурости тонут дубовых ветвей.

ПЕСНЬ ВЕЧЕРНЕЙ СТРАНЫ

О, крылья ночные души:
когда-то здесь мы, в обличье пастушьем, брели
вдоль закатно темневших лесов, а за нами шли следом
алая птица лесная, зеленый цветок, поющий ручей –
само покорство. О, первобытная песня сверчка,
цветение крови под жертвенным камнем;

Und der Schrei des einsamen Vogels über der grünen
Stille des Teichs.

O, ihr Kreuzzüge und glühenden Martern
Des Fleisches, Fallen purpurner Früchte
Im Abendgarten, wo vor Zeiten
die frommen Jünger gegangen,
Kriegsleute nun, erwachend aus Wunden
und Sternenträumen.

O, das sanfte Zyanenbündel der Nacht.

O, ihr Zeiten der Stille und goldener Herbste,
Da wir friedliche Mönche die purpurne Traube gekeltert;
Und rings erglänzten Hügel und Wald.
O, ihr Jagden und Schlösser; Ruh des Abends,

над зеленым безмолвием глади озерной – крик
одиноким птицы.

О, крестоносцев походы, сквозь огненность пыток,
сквозь плотскость мучений; паденье пурпурных плодов
в вечерних фруктовых садах,
где некогда кротко апостолы трогали землю,
и вот здесь – солдаты, очнувшись от ран,
от звездных видений.

О, нежный букет васильковый – Ночи букет!

О, века́ тишины и возвратного осени злата,
когда мы, монахи, блаженно пурпур давили
лоз виноградных,
а вокруг, осиянно, стояли холмы и леса.

О ритмы охоты, о зámки; вечерний покой,
когда человек, отрешенный, в праведной думе
безмолвно молился, в бореньях
за Бога живую вершину.

О, горькое время заката, когда в черных водах
мы лик каменеющий видим.
И все же в сиянье распахнуты веки влюбленных
серебряным светом:
то пола единство. Здесь ладан струится
от розовых простынь,
блаженно пенье воскресших.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Едва вечереет, как
голубеющий лик тебя покидает неслышно.
Птичка поет в ветвях тамаринда.

Ein sanfter Mönch
Faltet die erstorbenen Hände.
Ein weißer Engel sucht Marien heim.

Ein nächtiger Kranz
Von Veilchen, Korn und purpurnen Trauben
Ist das Jahr des Schauenden.

Zu deinen Füßen
Öffnen sich die Gräber der Toten,
Wenn du die Stirne in die silbernen Hände legst.

Stille wohnt
An deinem Mund der herbstliche Mond,
Trunken von Mohnsaft dunkler Gesang;

Кроток монах,
сложивший свои отжившие руки.
Белый ангел настигает Марию.

Ночи венки
из фиалок, жита и пурпурных гроздьев –
вот он, год созерцателя.

У ног твоих
разверзаются тотчас могилы умерших,
едва укрывается лоб твой в рук серебро.

Молча живет
на губах твоих месяц осенний,
пьяный от смутного пеня маковых соков.

Blaue Blume,
Die leise tönt in vergilbtem Gestein.

FÖHN

Blinde Klage im Wind, mondene Wintertage,
Kindheit, leise verhallen die Schritte an schwarzer Hecke,
Langes Abendgeläut.
Leise kommt die weiße Nacht gezogen,

Verwandelt in purpurne Träume Schmerz und Plage
Des steinigen Lebens,
Daß nimmer der dornige Stachel ablasse
vom verwesenden Leib.
Tief im Schlummer aufseufzt die bange Seele,

Цветок голубой
тихо поет в камнях пожелтевших.

ФЁН

199

Жалоба ветру слепая, лунные зимние дни, детство,
смолкшие шаги возле черной ограды,
долгие колокольные в сумерках звоны.
Тихо приходит, улегшись, белая ночь,

превращая в сновиденный пурпур
боль этой каменной жизни,
не устающей вгонять терновое жало в гниющую плоть.
Робко вздыхает душа в глубокой дремоте,

Tief der Wind in zerbrochenen Bäumen,
Und es schwankt die Klagegestalt
Der Mutter durch den einsamen Wald

Dieser schweigenden Trauer; Nächte,
Erfüllt von Tränen, feurigen Engeln.
Silbern zerschellt an kahler Mauer ein kindlich Gerippe.

* * *

Die Stille der Verstorbenen liebt den alten Garten,
Die Irre die in blauen Zimmern gewohnt,
Am Abend erscheint die stille Gestalt am Fenster

в сломы деревьев глубоко врывается ветер,
матери образ скорбящий, шатаясь, идет
по пустынному лесу

этой безмолвной печали; но́чи –
о, как полны они слез и ангелов страстных.
Звоном серебряным вдребезги в голость стены –
детские мощи.

* * *

Тишина мертвых, любящая старину садов,
дурочку, живущую в голубеющих комнатах,
по вечерам у окна – тих ее силуэт.

Sie aber ließ den vergilbten Vorgang herab -
Das Rinnen des Glasperlen erinnerte an unsere Kindheit,
Nachts fanden wir einen schwarzen Mond im Wald

In eines Spiegels Bläue tönt die sanfte Sonate
Lange Umarmungen
Gleitet ihr Lächeln über des Sterbenden Mund.

**<WIND, WEIßE STIMME, DIE AN DES
TRUNKNEN SCHLÄFE FLÜSTERT...>**

202

1. Fassung

Wind, weiße Stimme, die an des Schläfers Schläfe flüstert
In morschem Geäst hockt das Dunkle
in seinem purpurnen Haar

Когда же она опускает желтоватые портьеры,
струенье бисера напоминает о нашем детстве,
когда мы по ночам в лесу искали черную луну.

Медленно звучит соната в голубизне зеркал;
долгие объятия;
скользит ее улыбка над умирающим ртом.

203

<ВЕТЕР, БЕЛЫЙ ГОЛОС, ШЕПОТКОМ НА УХО ПЬЯНОМУ...>

1-я редакция

Ветер, белый голос, шепотком на ухо пьяному.
На ломких ветвях Смутное, на корточках,
пурпуром волос себя укрывшее.

Lange Abendglocke, versunken im Schlamm des Teichs
Und darüber neigen sich die gelben Blumen des Sommers.
Konzert von Hummeln und blauen Fliegen
in Wildgras und Einsamkeit,
Wo mit rührenden Schritten ehem Ophelia ging
Sanftes Geben des Wahnsinns.

Ängstlich wogt das Grün im Rohr
Und die gelben Blätter der Wasserrosen, zerfällt
ein Aas in heißen Nesseln
Erwachend umflattern den Schläfer
kindliche Sonnenblumen.

Semptemberabend, oder die dunklen Rufe der Hirten,
Geruch von Thymian. Glühendes Eisen sprüht
in der Schmiede
Gewaltig bäumt sich ein schwarzes Pferd;
die hyazinthene Locke der Magd

Долгие вечерние звоны, тонущие в омуте пруда,
Клонятся по берегам желтые лета цветы.
Концерт голубых мух и шмелей в буйствующих злаках;
Одиночество; здесь когда-то трепещущим шагом
Офелия шла,

Кроткая в жестах безумья. Боязливо колышется
зелень в волнах камыша,

Желтые листья кувшинок, запах тленья давней
приманки в жгучей крапиве.

Колыханье подсолнухов детства над спящим, в миг
пробужденья.

Вечер сентябрьский, смутные зовы пастушки,
Запах тимьяна. В кузнице брызги пыланья железа.
Конь вороной мощно встал на дыбы;

гиацинтовый локон служанки,

Hascht nach der Inbrunst seiner purpurnen Nüstern.
Zu gelber Mauer erstarrt der Schrei des Rebhuhns verrostet
in faulender Jauche ein Pflug
Leise rinnt roter Wein, die sanfte Gitarre im Wirtshaus.
O Tod! Der kranken Seele verfallener Bogen Schweigen
und Kindheit.

Aufflattern mit irren Gesichtern die Fledermäuse.

Устремлённый вслед за ноздрей
ее пурпуром страстным.

В желтую стену цепко вонзённый крик куропатки,
Плуг, заржавевший в лености жижи навозной.

Винного пурпура медленное струенье,
нежность трактирной гитары.

О умиранье! Изболевшей души рушится арка.

Молчанье и детство.

Безумные лики взлетевших летучих мышей.

Erwachend umflattern den Schläfer
kindliche Sonnenblumen.

* * *

Rote Gesichter verschlang die Nacht,
An härterer Mauer
Tastet ein kindlich Gerippe im Schatten
Des Trunkenen, zerbrochenes Lachen
Im Wein, glühende Schwermut,
Geistesfolter - ein Stein verstummt
Die blaue Stimme des Engels
Im Ohr des Schläfers. Verfallenes Licht.

Колыханье подсолнухов детства над спящим,
в миг пробужденья.

* * *

211

Алые силуэты поглотившая ночь,
У стены, что в подтеках,
Ощупь детской худобы
В тени того, кто в подпитье,
Хохот надсадный внутри виноградника,
Тоской обожженный,
Духовные пытки – сам камень смолкает,
Ангела глас голубой –
В ухо тому, кто уснул. Скоро погаснет свеча.

DIE SONNE

Täglich kommt die gelbe Sonne über den Hügel.
Schön ist der Wald, das dunkle Tier,
Der Mensch; Jäger oder Hirt.

Rötlich steigt im grünen Weiher der Fisch.
Unter dem runden Himmel
Fahrt der Fischer leise im blauen Kahn.

Langsam reift die Traube, das Korn.
Wenn sich stille der Tag neigt,
Ist ein Gutes und Böses bereitet.

Wenn es Nacht wird,
Hebt der Wanderer leise die schweren Lider;
Sonne aus finsterner Schlucht bricht.

СОЛНЦЕ

Снова и снова уходит за Холм наше желтое солнце.
Прекрасны лес, зверь туманный,
человек – охотник или быть может пастух.

В зеленом пруду розовато мерцает рыба.
Под небом округлым
213 рыбак в голубеющей лодке неслышно скользит.

Неспешно здесь зреют и лозы, и жито.
Но склоняется день в тишине,
и являются зло и добро.

Когда же ночь наступает,
осторожно Странник свои поднимает тяжелые веки;
солнце из черной бездны хлещет в упор.

DAS GEWITTER

Ihr wilden Gebirge, der Adler
Erhabene Trauer.
Goldnes Gewölk
Raucht über steinerner Öde.
Geduldige Stille odmen die Föhren,
Die schwarzen Lämmer am Abgrund,
Wo plötzlich die Bläue
Seltsam verstummt,
Das sanfte Summen der Hummeln.
O grüne Blume —
O Schweigen.

Traumhaft erschüttern des Wildbachs
Dunkle Geister das Herz,

ГРОЗА

215

Как дики эти горы,
печаль орлов высока.
Над каменной пустошью
облака золотые дымятся.
Тишиной вековечную ведают сосны.
Вдоль пропасти края – черные овцы.
Где внезапно
синева непривычная молкнет –
нежно шмелей гуденье.
О безмолвья зеленый цветок!

Упоённо как в сказке пьешь
неведомость духов, ручья первобытность,

Finsternis,
Die über die Schluchten hereinbricht!
Weiße Stimmen
Irrend durch schaurige Vorhöfe,
Zerrißne Terrassen,
Der Väter gewaltiger Groll, die Klage
Der Mütter,
Des Knaben goldener Kriegsschrei
Und Ungebornes
Seufzend aus blinden Augen.

O Schmerz, du flammendes Anschau
Der großen Seele!
Schon zuckt im schwarzen Gewühl
Der Rosse und Wagen
Ein rosenschauriger Blitz

этот мрак, сквозь ущелья
бьющий стремительно!
Блуждает по жутким площадкам
белизна голосов,
по террасам в разрывах –
отцовский карающий гнев,
плач материнский и зовы,
военные кличи мальчишек златые,
и Нерожденное здесь же,
в слепых глазах его – вздохи.

О боль, созерцания пламя
великой души!
И вот уж сверкание розовосмертное молний
в зареве сосен поющем,
в смятенности черной коней и возничих.

In die tönende Fichte.
Magnetische Kühle
Umschwebt dies stolze Haupt,
Glühende Schwermut
Eines zürnenden Gottes.

Angst, du giftige Schlange,
Schwarze, stirb im Gestein!
Da stürzen der Tränen
Wilde Ströme herab,
Sturm-Erbarmen,
Hallen in drohenden Donnern
Die schneeigen Gipfel rings.
Feuer
Läutert zerrissene Nacht.

Магнетический хлад
овекает гордую эту вершину.
Как пылающая Божья тоска
в кипени гнева!

Страх, о змея ядовитая,
сгинь чернотой в камнях!
Слезы диких потоков,
неситесь, неситесь!
Буря жалости, грома угрозы
вторят по кругу
в снежных вершинах.
Огонь очищенья
в истерзанной нóчи.

KLAGE

Schlaf und Tod, die düstern Adler
Umrauschen nachtlang dieses Haupt:
Des Menschen goldnes Bildnis
Verschlänge die eisige Woge
Der Ewigkeit. An schaurigen Riffen
Zerschellt der purpurne Leib
Und es klagt die dunkle Stimme
Über dem Meer.
Schwester stürmischer Schwermut
Sieh ein ängstlicher Kahn versinkt
Unter Sternen,
Dem schweigenden Antlitz der Nacht.

ЖАЛОБА

Сон и смерть – два угрюмых орла –
по ночам овевают крылами эту вершину:
золотой человеческий образ
поглотила студеными волнами вечность.
Алость плоти о страшные рифы разбилась,
плачет голос – таинственно-смутный –
над морем.
О сестра штормящей тоски,
посмотри: то испуганный челн
в звезды глубже и глубже уходит,
в Лик безмолвной ночи.

DIE NACHT

Dich sing ich wilde Zerklüftung,
Im Nachtsturm
Aufgetürmtes Gebirge;
Ihr grauen Türme
Überfließend von höllischen Fratzen,
Feurigem Getier,
Rauhen Farnen, Fichten,
Kristallinen Blumen.
Unendliche Qual,
Daß du Gott erjagtest
Sanfter Geist,
Aufseufzend im Wassersturz,
In wogenden Föhren.

НОЧЬ

Пою вас, пропасти в скалах глухие,
В буре ночной
Вверх летящие уступы;
Серые башни и зámки
Шутовством бесовским перекрыты,
Огненно-красным зверьем,
Папоротников шуршанием, пихт,
Хрустальным свеченьем цветов.
Мука без края –
Охота на Бога
В обществе кроткого Духа,
Чьи вздохи – во тьме водопада,
В кипенье форели.

Golden lodern die Feuer
Der Völker rings.
Über schwärzliche Klippen
Stürzt todestrunken
Die erglühende Windsbraut,
Die blaue Woge
Des Gletschers
Und es dröhnt
Gewaltig die Glocke im Tal:
Flammen, Flüche
Und die dunklen
Spiele der Wollust,
Stürmt den Himmel
Ein versteinertes Haupt.

В пожарах народов
Всё золото напрочь сгорает.
От черных утёсов
Вниз мчится, упившись смертельно,
Багровая ветра невеста, то шквальная буря,
Волна голубая
Глетчера
И колокол
Мощно гудящий –
Тот, что в долине:
Огонь и проклятья
И смутные
Сны сладострастья,
Окаменевшей главою
Ты небо, небо штурмуешь.

SOMMER

Am Abend schweigt die Klage
Des Kuckucks im Wald.
Tiefer neigt sich das Korn,
Der rote Mohn.

Schwarzes Gewitter droht
Über dem Hügel.
Das alte Lied der Grille
Erstirbt im Feld.

Nimmer regt sich das Laub
Der Kastanie.
Auf der Wendeltreppe
Rauscht dein Kleid.

ЛЕТО

Вечерами смолкают в лесу
кукушкины зовы.
Глубже клонится рожь,
головки мака горят.

Черные грозы
движутся над холмами.
Древняя песня сверчка
умирает в полях.

Не шелохнется листок
ни на миг у каштана.
По лестнице винтовой
платье твое шелестит.

Stille leuchtet die Kerze
Im dunklen Zimmer;
Eine silberne Hand
Löschte sie aus;

Windstille, sternlose Nacht.

228

IN EIN ALTES STAMMBUCH

Immer wieder kehrst du Melancholie,
O Sanftmut der einsamen Seele.
Zu Ende glüht ein goldener Tag.

Тихо свечка зажглась
в твоей комнате темной;
серебристость руки
погасила ее.

Ни дуновенья: беззвездная ночь.

В ОДИН СТАРИННЫЙ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ

Тоска, ты возвращаешься снова и снова;
О кротость души одинокой.
Пылание дня золотого уже на исходе.

Demutsvoll beugt sich dem Schmerz der Geduldige
Tönend von Wohllaut und weichem Wahnsinn.
Siehe! es dämmert schon.

Wieder kehrt die Nacht und klagt ein Sterbliches
Und es leidet ein anderes mit.

Schauernd unter herbstlichen Sternen
Neigt sich jährlich tiefer das Haupt.

* * *

So leise läuten
Am Abend die blauen Schatten
An der weißen Mauer.
Stille neigt sich das herbstliche Jahr.

Смиренно покорствуем боли Полный-терпенья,
пронзенный пеня блаженством и кротким безумьем.
Взгляни же! Уж сумерки входят.

Ночь снова вернулась, и смертное сетует снова,
и молча одно сострадает другому.

231

Под звездами осени в дрожи
ты голову клонишь с годами всё ниже, всё глубже.

* * *

На белой стене
тихие звонь
голубых теней вечерами.
Тайно в молчанье клонится год мой осенний.

Stunde unendlicher Schwermut,
Als erlitt' ich den Tod um dich.
Es weht von Gestirnen
Ein schneeiger Wind durch dein Haar.

Dunkle Lieder
Singt dein purpurer Mund in mir,
Die schweigsame Hütte unserer Kindheit,
Vergessene Sagen;

Als wohnt' ich ein sanftes Wild
In der kristallinen Woge
Des kühlen Quells
Und es blühten die Veilchen rings

Час бесконечной тоски,
будто я смерть претерпел, прежде утратив себя.
Прямо с созвездий здесь дует заснеженный ветер,
волосы тронув.

Смутные песни во мне
поет мой пурпурный рот;
детства приют наш молчит,
позабыты сказанья;

кажется, дикою кроткою птицей
жил я в водах хрустальных
лесного ручья,
о, сколько фиалок цветущих было вокруг!

GESANG EINER GEFANGENEN AMSEL

Für Ludwig von Ficker

Dunkler Odem im grünen Gezweig.
Blaue Blümchen umschweben das Antlitz
Des Einsamen, den goldnen Schritt
Ersterbend unter dem Ölbaum.
Aufflattert mit trunknem Flügel die Nacht.
So leise blutet Demut,
Tau, der langsam tropft vom blühenden Dorn.
Strahlender Arme Erbarmen
Umfährt ein brechendes Herz.

ПЕСНЯ ПЛЕННОГО ДРОЗДА

Людвигу фон Фикеру

235

Таинственные дуновенья сквозь ствольную зелень.
Голубые соцветья дышат тихо в лицо
Одинокого, золотая походка его
Замерла под оливой.
Опьяненными крыльями взмыть пытается Ночь.
Сколь утайна кровотокающая кротость;
Капля за каплей роса с цветущего тёрна течёт.
Рук состраданье сиятельно:
Сердце, рубец на рубце, нежно укрыто в объятых.

IM DUNKEL

2. Fassung

Es schweigt die Seele den blauen Frühling.
Unter feuchtem Abendgezweig
Sank in Schauern die Stirne den Liebenden.

O das grünende Kreuz. In dunklem Gespräch
Erkannten sich Mann und Weib.
An kahler Mauer
Wandelt mit seinen Gestirnen der Einsame.

Über die mondbeglänzten Wege des Walds
Sank die Wildnis
Vergessener Jagden; Blick der Bläue
Aus verfallenen Felsen bricht.

В СУМЕРКАХ

2-я редакция

Молчалива душа весны голубой.
Под вечерними влажными кронами
Лик влюбленного в трепет вошел: Созерцанье.

237

О зеленеющий Крест! В сумерках долгих беседа:
В познаванье друг друга Он и Она.
Возле голой стены
Одинокий бродяжит между столь родственных звезд.

За тропею лесной, что облита луною,
Вниз уходит лесная чащоба
Забытых охот; синевы очевзор
мощно бьет между скальных прорывов.

IN HELLBRUNN

Wieder folgend der blauen Klage des Abends
Am Hügel hin, am Frühlingsweiher -
Als schwebten darüber die Schatten lange Verstorbener
Die Schatten der Kirchenfürsten, edler Frauen -
Schon blühen ihre Blumen, die ersten Veilchen
Im Abendgrund, rauscht des blauen Quells
Kristallne Woge. So geistlich ergrünen
Die Eichen über den vergessenen Pfaden der Toten,
Die goldene Wolke über dem Weiher.

В ХЕЛЬБРУННЕ⁴

Снова следовать за голубой жалейкой сумерек
Вплоть до холма, до весеннего пруда –
Пока не зашевелились над водною гладью тени
давно усопших,

Иерархов веры, знатных дам –

239

Уже раскрылись цветы их, серьезно-строгие фиалки
На вечернем черноземе; журчит голубой ручей
Кристалльными струями.

Сколь священна зеленая дымка
Дубов над забытыми тропами мертвых!
Золото облаков над умолкнувшим прудом.

⁴ Хельбрунн - замок и парк под Зальцбургом.

* * *

Dunkel ist das Lied des Frühlingsregens in der Nacht,
Unter den Wolken die Schauer rosiger Birnenblüten
Gaukelei des Herzens, Gesang und Wahnsinn der Nacht.
Feurige Engel, die aus verstorbenen Augen treten.

KARL KRAUS

Weißer Hohepriester der Wahrheit,
Kristallne Stimme, in der Gottes eisiger Odem wohnt,
Zürnender Magier,
Dem unter flammendem Mantel der blaue Panzer
des Kriegers klirrt.

DAS HERZ

Das wilde Herz ward weiß am Wald;
O dunkle Angst
Des Todes, so das Gold
In grauer Wolke starb.
Novemberabend.
Am kahlen Tor am Schlachthaus stand
Der armen Frauen Schar;
In jeden Korb
Fiel faules Fleisch und Eingeweid;
Verfluchte Kost!

Des Abends blaue Taube
Brachte nicht Versöhnung.

СЕРДЦЕ

Дикое сердце в лесу поседевшее;
О темный страх,
Смертный:
В сером облаке
Золото в гибели.
Ноябрьский вечер.
У голых бойни ворот –
Бедных женщин толпа;
В каждый короб –
По куску потрохов и отбросов мясных;
Омерзительность пищи!

Вечера голубой голубь
Не принес примиренья.

Dunkler Trompetenruf
Durchfuhr der Ulmen
Nasses Goldlaub,
Eine zerfetzte Fahne
Vom Blute rauchend,
Daß in wilder Schwermut
Hinlauscht ein Mann.
O! ihr ehernen Zeiten
Begraben dort im Abendrot.

Aus dunklem Hausflur trat
Die goldne Gestalt
Der Jünglingin
Umgeben von bleichen Monden,
Herbstlicher Hofstaat,
Zerknickten schwarze Tannen

Смутный зов трубы
Сквозь влажно-золотую
Листву вязов,
Разодранное в клочья знамя,
Дымящееся кровью,
В дикой тоске
В даль вслушивается некто.
О! в бронзовом веке
Погребают всегда на закате.

Из темных сеней
Золотой силуэт показался
Девушки юной,
Провожатые ей – бледные луны;
Осенний хутор,
Черные ели

Im Nachtsturm,
Die steile Festung.
O Herz
Hinüberschimmernd in schneeige Kühle.

IM SCHNEE

(Nachtergebung) 1. Fassung

Der Wahrheit nachsinnen -
Viel Schmerz!
Endlich Begeisterung
Bis zum Tod.
Winternacht
Du reine Mönchin!

Сломлены в буре ночной,
Крута ты, твердыня.
О сердце,
Уходишь в мерцание снежного хлада.

В СНЕГУ

(Посвящение в Ночь. 1-я редакция)

Наполняться истиной –
Сколько боли!
Последний экстаз –
Вплоть до смертного мига.
Зимняя ночь –
О монашенка, как ты чиста!

VERWANDLUNG DES BÖSEN

2. Fassung

Herbst: schwarzes Schreiten am Waldsaum; Minute stummer Zerstörung; auflauscht die Stirne des Aussätzigen unter dem kahlen Baum. Langvergangener Abend, der nun über die Stufen von Moos sinkt; November. Eine Glocke läutet und der Hirt führt eine Herde von schwarzen und roten Pferden ins Dorf. Unter dem Haselgebüsch weidet der grüne Jäger ein Wild aus. Seine Hände rauchen von Blut und der Schatten des Tiers seufzt im Laub über den Augen des Mannes, braun und schweigsam; der Wald. Krähen, die sich zerstreuen; drei. Ihr Flug gleicht einer Sonate, voll verblichener Akkorde und männlicher Schwermut; leise löst sich eine

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЗЛА

2-я редакция

249

Осень: черные шаги на лесной опушке; минута немого распада; чуткий лоб прокаженного под деревом голым. Давний вечер вновь по мшистым ступеням ниже и ниже; ноябрь. Колокольное пенье, пастух возвращает в деревню табун лошадей, вороных и огненно-красных. Под лещины кустом совсем зеленый юнец дичь, убитую им, потрошит. Руки кровью дымятся, а зверя душа, бура и безмолвна, вздыхает на его глазах; лес. Вороны врассыпную; три. Полет их подобен сонате, где много поблекших аккордов и мужественной печали; тихо истаивает облако золотое. У мельницы мальчишки жгут костер.

goldene Wolke auf. Bei der Mühle zünden Knaben ein Feuer an. Flamme ist des Bleichsten Bruder und jener lacht vergraben in sein purpurnes Haar; oder es ist ein Ort des Mordes, an dem ein steiniger Weg vorbeiführt. Die Berberitzen sind verschwunden, jahrlang träumt es in bleierner Luft unter den Föhren; Angst, grünes Dunkel, das Gurgeln eines Ertrinkenden: aus dem Sternenweiher zieht der Fischer einen großen, schwarzen Fisch, Antlitz voll Grausamkeit und Irrsinn. Die Stimmen des Rohrs, hadernder Männer im Rücken schaukelt jener auf rotem Kahn über frierende Herbstwasser, lebend in dunklen Sagen seines Geschlechts und die Augen steinern über Nächte und jungfräuliche Schrecken aufgetan. Böse.

Was zwingt dich still zu stehen auf der verfallenen Stiege, im Haus deiner Väter? Bleierne Schwärze. Was

Пламя – брат самого бледного, он смеется, погружаясь в пурпурные волосы огня; но быть может это место, где свершилось убийство, сбоку уходит дорога в горы. Барбарисы исчезли, круглый год длится греза под соснами, чей воздух свинцов. Страх, зеленые сумерки, клекот утопленника: из звездного озера тащит рыбак большую черную рыбу, лик ее – ужаса смесь и безумья. Поет камышовый тростник; за спинами спорящих посреди стылых осенних вод плывет тот, что на них не похож, он покачивается в красной лодке, он живёт таинственными сказаниями предков, окаменело распахнув взор в ночь и в девственный ужас. Зло.

Что ж заставляет тебя тихо стоять на ветхих ступенях дома предков твоих? Свинцовая чернота.

hebst du mit silberner Hand an die Augen; und die Lieder sinken wie trunken von Mohn? Aber durch die Mauer von Stein siehst du den Sternenhimmel, die Milchstraße, den Saturn; rot. Rasend an die Mauer von Stein klopft der kahle Baum. Du auf verfallenen Stufen: Baum, Stern, Stein! Du, ein blaues Tier, das leise zittert; du, der bleiche Priester, der es hinschlachtet am schwarzen Altar. O dein Lächeln im Dunkel, traurig und böse, daß ein Kind im Schlaf erbleicht. Eine rote Flamme sprang aus deiner Hand und ein Nachtfalter verbrannte daran. O die Flöte des Lichts; o die Flöte des Tods. Was zwang dich still zu stehen auf verfallener Stiege, im Haus deiner Väter? Drunten ans Tor klopft ein Engel mit kristallnem Finger.

Что поднимаешь рукой серебристой к глазам,
если веки слипаются, как опьяненные маком? Но
за стеною из камня ты видишь звездное небо,
Млечный путь, Сатурн; красный. Обнаженное
дерево бешено бьется о камень стены. Это и есть
ты сам на ветхих, прогнивших ступеньках: звезда,
дерево, камень! Ты и есть дикий зверь голубой,
что тихо дрожит; ты и есть бледный жрец, чей так
черен алтарь, на котором казнишь. А улыбка твоя в
темноте так печальна и зла, что ребенок бледнеет во
сне. Из ладоней твоих вырывается красное пламя,
и сгорает ночной мотылек в нем. О, флейта света; о,
флейта смерти! Что ж заставляет тебя продолжать
тихо стоять на ветхих ступенях дома предков
твоих? Ведь внизу ангел пальцем хрустальным
стучит и стучит в ворота.

O die Hölle des Schlafs; dunkle Gasse, braunes Gärtchen. Leise läutet im blauen Abend der Toten Gestalt. Grüne Blümchen umgaukeln sie und ihr Antlitz hat sie verlassen. Oder es neigt sich verblichen über die kalte Stirne des Mörders im Dunkel des Hausflurs; Anbetung, purpurne Flamme der Wollust; hinsterbend stürzte über schwarze Stufen der Schläfer ins Dunkel.

Jemand verließ dich am Kreuzweg und du schaust lange zurück. Silberner Schritt im Schatten verkrüppelter Apfelbäumchen. Purpurn leuchtet die Frucht im schwarzen Geäst und im Gras häutet sich die Schlange. O! das Dunkel; der Schweiß, der auf die eisige Stirne tritt und die traurigen Träume im Wein, in der Dorfschenke unter schwarzverrauch-

О, преисподняя сна; темный проулок, маленький сад побуревший. Тихие звоны силуэта покойницы вечером синим. Хороводы зеленых цветов, а потом всё ее покидает. Или же это: в темной прихожей мертвенный лик над холодным убийцы челом; мольбы, пурпурный пламень желанья; в медленном смертном уходе ринулся спящий во мрак по черным ступеням.

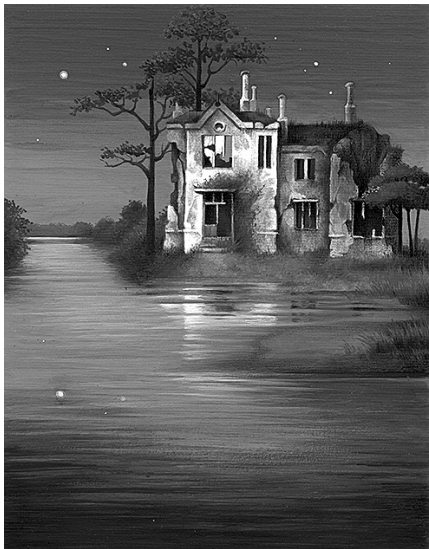
Кто-то покинул тебя на перекрестке путей, и ты долго смотришь назад. Серебрян твой шаг меж корявых маленьких яблонь. В черных ветвях пурпурно светится плод, а в травах змея старую кожу с себя соскребает. О, этот мрак; пот на лбу ледяном, мрачные винные грезы в деревенской корчме, где потолок прокуренный чёрен. Но ты

tem Gebälk. Du, noch Wildnis, die rosige Inseln zaubert aus dem braunen Tabaksgewölk und aus dem Innern den wilden Schrei eines Greifen holt, wenn er um schwarze Klippen jagt in Meer, Sturm und Eis. Du, ein grünes Metall und innenein feuriges Gesicht, das hingehen will und singen vom Beinerhügel finstere Zeiten und den flammenden Sturz des Engels. O! Verzweiflung, die mit stummem Schrei ins Knie bricht.

Ein Toter besucht dich. Aus dem Herzen rinnt das selbstvergossene Blut und in schwarzer Braue nistet unsäglicher Augenblick; dunkle Begegnung. Du - ein purpurner Mond, da jener im grünen Schatten des Ölbaums erscheint. Dem folgt unvergängliche Nacht.

всё еще дикий пейзаж, что волхвует волшебные розовые острова из густого табачного дыма, а из глубин твоих рвется дикий вопль грифа, когда он в охотничьем раже над черными рифами в море среди бури и льдов. Ты – зеленый металл с пылающим ликом внутри, что вырваться жаждет, чтоб спеть с Холма-из-костей о страшной эпохе, где ангел пламенно пал. О! Отчаянье с воплем безмолвным падает ниц.

Мертвец посещает тебя. Из сердца глубин самозабвенная кровь устремляется прочь, а во мраке бровей несказанность мгновенья гнездится; неведомость встречи. Ты – пурпурный месяц, взошедший в зеленой оливы тени. Что же далее, там? Непреходящая ночь.



Мартин Хайдеггер

Язык поэмы

*Истолкование (поиск местности)
поэзии Георга Тракля*

Истолковать (erörtern) подразумевает здесь прежде всего: указать на место, на местность (in den Ort weisen), подтолкнуть к месту. Далее это означает: обратить внимание на это место. И то, и другое – и указание на место, и внимательное рассмотрение места – суть предварительно-подготовительные шаги истолкования. Однако с нашей стороны уже достаточная смелость, если в дальнейшем мы удовольствуемся лишь этими предварительными шагами. Истолкование, если следовать ходу мысли, завершается вопросом. Вопросает же оно о локализованности места, о мествовании места, об уместности места.

Истолкование касается Георга Тракля лишь в том смысле, что оно есть размышление о местности его поэзии/стихотворения. Такой подход для эпохи, интересующейся лишь голой экспрессией (трактуемой исторически, биографически, психоаналитически, социологически), может представляться очевидной односторонностью, если не ложным путем. Истолкование припоминает местность.

Изначальный смысл слова «Ort» (место) – острие копья. В нем все сходится. Место-острие стягивает всё в себя в высшей и предельной степени. Место-острие (собранное, сосредоточенное в себе), наступая, добывает для себя, храня и утаивая добытое, однако не в форме некоего запирающегося ящика, но таким образом, что оно просвечивает свою добычу,

пронизывает ее светом и лишь посредством этого впускает в свою сущность.

И вот теперь необходимо истолковать, изъяснить ту местность, которая концентрирует поэтическую речь Георга Тракля в поэму, изъяснить местность его поэмы.

Всякий великий поэт поэтствует из <глубины> одной-единственной поэмы/стихотворения. Его величие измеряется тем, в какой степени ему удается быть в доверительных отношениях с этой единственностью, и притом так, чтобы его поэтическая речь пребывала там во всей чистоте.

Поэма поэта остается невыговоренной. Ни каждое отдельное стихотворение, ни вся их совокупность не изъясняют всего. И все же каждое произведение говорит из совокупной целостности этой единствен-

ной поэмы и каждый раз рассказывает именно ее. Из местности поэмы исходит волна, каждый раз движущая речь в качестве речи поэтической. Однако эта волна почти не покидает местности поэмы, так что это истечение вполне позволяет целостному движению сказывания возвращаться в неизменно укрываемый первоисток. Место поэмы, утаивая, спасает – в качестве истока движущейся волны – скрытую сущность того, что метафизически-эстетическому представлению может являться прежде всего в качестве ритма.

Поскольку эта единственная поэма пребывает в невысказанности, истолковать ее место (уместить – *erörtern*) можно лишь следующим образом: попытаться из высказываний отдельных стихотворений указывать в направлении их местности. Однако для

этого надо каждому отдельному стихотворению дать свое истолкование, которое приведет звучащий строй, пронизывающий ярким светом все поэтическое сказывание, к некоему первосиянию.

Нетрудно увидеть, что подлинный комментарий предполагает истолкование местности. Лишь из местности поэмы светятся и звучат отдельные стихотворения. И наоборот: толкование-омествование всей поэмы нуждается в предваряющем этапе первоистолкований отдельных стихотворений.

В этой взаимообусловленности толкования-омествования и толкования-озвученности и происходит всякий мыслящий диалог с творением поэта.

Собственно диалог с творением поэта, конечно же, поэтический: поэтический разговор между поэтами. Однако возможна также, а иногда даже и

необходима, доверительная беседа *мышления* с поэзией, и именно потому, что им обоим свойственно исключительно-особое, хотя при этом и различное, взаимодействие с языком.

Беседа (с-говор) мышления с поэзией происходит для того, чтобы выявить *существо* языка, с тем, чтобы смертные вновь учились проживать в языке.

Диалог мышления с поэзией долог. Сейчас он едва начат. По отношению к творчеству Георга Тракля он нуждается в особой сдержанности. Мыслящий диалог с поэзией творчеству может служить лишь косвенно. Поэтому есть опасность, что он скорее может помешать поэтическому сказыванию, вместо того чтобы содействовать осуществлению поэтического пения из его собственной упокоенности и тишины.

Толкование-омествование (die Erörterung) поэмы есть мыслящий диалог с творением. Однако он не рисует картину мировоззрения поэта, в равной мере не занят он и осмотром его мастерской. Истолкование творчества ни в коем случае не может заменить слушания стихотворений, не может оно им и руководить. Мыслящее истолкование может сделать слушание крайне сомнительным и лишь в самом благоприятном случае – более вдумчивым.

Помня об этих ограничениях, попытаемся вначале указать на местность этой неизреченной поэмы. Притом что исходить мы должны из стихов изреченных. Встает вопрос: из каких именно? Каждое из траклевских стихотворений, при всей их несхожести, указывает на одну и ту же поэтическую местность, что и является подтверждением уникальной

гармонии его стихов, соответствующей основному тону его поэмы.

Так что предпринимаемая здесь попытка указания на ее местность может довольствоваться немногими строфами, стихами и строками. Неизбежна иллюзия, будто при этом мы действуем произвольно. Однако в своем выборе мы руководствовались следующим намерением: достичь местности творчества поэта посредством своего рода молниеносного прыжка.

I

Одно из стихотворений сказывает:

Это – душа, на Земле чужестранка.

Эта фраза перво-наперво ввергает нас в привычное представление. Она представляет нам Землю как нечто смертное в смысле преходящего. Душа же, напротив, является в качестве непреходящей, неземной, сверхъестественной. Душа, со времен Платонова учения, принадлежит к сверхчувственному. Если же она являет себя в чувственном, то лишь потому, что ее туда нечто забрасывает. Здесь, «на Земле», она не в своей тарелке. Она не принадлежит Земле. Душа здесь «чужестранна», нечто чужое, пришелец (ein Fremdes). Тело – темница души, если не нечто более худшее. Так что душе, очевидно, не остается ничего другого, как по возможности поскорее покинуть эту сферу чувственного, – сферу, которая, рассматриваема платонически, есть неистинно-сущее, всего лишь преходяще-тленное.

Но какова странность! Ведь строка

Это – душа, на Земле чужестранка, –

звучит в стихотворении, название которого – «Весна души» (149)¹. О неземной, сверхъестественной родине бессмертной души в нем нет ни слова. Это заставляет нас призадуматься и обратить внимание на язык поэта. Душа: «ein Fremdes» (нечто чужое, постороннее). В других стихотворениях Тракль часто и охотно пользуется той же языковой формой: «смертное», «смутное», «одинокое», «отжившее», «больное», «человеческое», «бледное», «мертвое»,

¹ Нумерация страниц дается по первому тому («Стихотворения») собрания сочинений Тракля, вышедшему в издательстве Отто Мюллера в Зальцбурге, шестое издание, 1948 год.

«молчащее». Эта лингвистическая форма, даже если забыть о различиях между соответствующими конкретными значениями, не всегда обладает одним и тем же смыслом. «Одинокое», «чужое», «постороннее» подразумевает нечто изолированное, уединенное, иногда оказывающееся тем «одиноким», что в силу случайности становится в том или ином отношении «чужим», «посторонним». «Постороннее» этого рода может быть вообще включено в категорию посторонних (чужих) вещей и там оставлено. Представляемая так, душа была бы лишь одним среди многих других случаев посторонности, чужести.

Но что значит «fremd» (чужой, чуждый, нездешний, иной, посторонний, неизвестный)? Под непривычно-чужеродным обычно понимают нечто неблизкое, не заслуживающее доверия, то, что не

нравится, что скорее даже обременяет и тревожит. Однако «чужой» (*fremd*), древневерхненемецкое «*fram*», собственно означает: куда-нибудь вперед, по пути в..., навстречу тому, что оставлено впереди. Чужое, постороннее, иное, нездешнее (*das Fremde*) странствует впереди. Однако оно отнюдь не блуждает бессмысленно, лишенное всяческого предназначения. Постороннее, чужое стремится отыскать местность, где оно могло бы пребывать странствующим. «Постороннее», едва открывшись зову, уже следует ему на пути к своему достоянию.

Поэт называет душу «чужестранкой на этой Земле». Но место, куда она в своем странствии еще не смогла добраться, как раз и есть Земля. Душа впервые *ищет* Землю, отнюдь не бежит от нее. Странствуя, отыскивать Землю, чтобы себя на ней по-

этически выстраивать и жить; чтобы именно таким образом впервые суметь спасти Землю *в качестве* земли – таково наполнение сущности Души. И все же душа не является прежде всего душой и лишь затем, по неким иным причинам, еще и чем-то не принадлежащим Земле.

Строчка:

Душа – чужестранна на этой Земле, –

вернее выражает сущность того, что зовется «душой». Эта фраза ничего не сообщает о будто бы уже познанной, в ее сущности, Душе, равным образом и о том, что будто бы, в качестве дополнения, следовало лишь установить, что Душе нанесло удар нечто ей несоразмерное и потому поразитель-

но-чуждое, и оттого не может она найти на Земле ни приюта, ни утешения. Вопреки всему этому Душа, будучи душой в сердцевине своей сущности, «чужестранна на этой Земле». И потому она продолжает находиться в пути и, странствуя, следует влечению своей сущности, своего существа. Между тем нас одолевает вопрос: куда, в каком направлении было позвано то, что в прокомментированном смысле есть «Постороннее», Чужое? Ответ дан в третьей части стихотворения «Грезящий Себастьян» (107):

*О, как тихо движение вниз по синей реке!
Оживляешь забытые смыслы, а в зеленых ветвях
дрозд запел, увлекая Чужое в закат.*

Душу позвали на запад, в закат. Ах, вот как! Душе следует закончить свое земное странствие и покинуть Землю? Однако в названных стихах об этом нет и речи. И все же они говорят о «закате», «западе», «гибели» (Untergang). Всё так. Однако названный здесь закат не есть ни катастрофа, ни погибельное исчезновение. То, что плывет вниз по синей реке и тонет,

*Тонет в покое и в молчании.
«Просветленная осень» (34)*

Что это за покой? Покой покойника. Но какого именно? И в каком молчании?

То душа, но как же она чужестранна на этой Земле!

Стих, которому принадлежит эта строка, продолжается следующим образом:

*... Духу подобна, брезжит
сумеречная голубизна сквозь загубленный лес...*

А перед этим названо солнце. Шаги Чужестранно-постороннего уходят в сумерки. «Брезжащая сумеречность» означает прежде всего наступление темноты. «Брезжит сумеречная голубизна». Темнеет, помрачается голубизна солнечного дня? Голубизна, исчезающая ввечеру в пользу ночи? Однако «сумеречность» отнюдь не обязательно есть уход дня как гибель его света в наступающем мраке. Сумеречность вообще-то отнюдь не обязательно означает заход, закат (Untergang). Ведь и утро сумеречно, утро

тоже брезжит. Им начинается день. Сумеречность есть также и восход. Голубизна брезжит над «заглубленным», громоздящимся, завалившимся лесом. Синева ночи восходит ввечеру.

Синева брезжит «духоносно» (geistlich). Сумеречность, сумерки характеризуются «духоносностью» (das Geistliche). Что именно подразумевается под многократно упоминаемой «духоносностью», «священством» (Geistliche), о том нам еще предстоит подумать. Сумерки – склон солнечного пути. Отсюда: сумерки – склон дня, равно как и склон года. Последняя строфа стихотворения, озаглавленного «Склон лета» (169), гласит:

*Зеленое лето столь тихим
внезапно стало; шаги чужеземца*

*так звучны в пространстве серебряной ночи.
Запомни тропы его дикой синего зверя,*

блаженного пенья лет жизни его духоносных!

277

В стихотворении Тракля вновь и вновь повторяется это «so leise» (тихо, чуть слышно). Кажется, что «leise» обладает лишь одним смыслом: едва заметное для слуха. Именно в этом значении названное входит в наши представления. Однако «leise» означает «медленно»; *gelisian* означает «скользить». Медленное (тихое) есть ускользающее. Лето ускользает в осень, в вечер года.

*...шаги чужеземца
так звучны в просторе серебряной ночи.*

Кто этот чужеземец/пришелец (Fremdling)? Чьи это тропы, идя по которым, можно вспоминать «синего дикого зверя»? Вспоминать – значит «оживлять забытые смыслы»,

...а в зеленых ветвях

дрозд запел, увлекая Чужое в закат.

(107, ср.34)

278

Почему «дикий синий зверь» (ср. 99, 146) задумывается об Уходящем в закат? Не получает ли дикий зверь свою синеву из той «голубизны», которая «духоносно брезжит» в наступающей ночи? Хотя ночь – темна, сумрачна, смутна. Однако сумрачность не обязательно мрак, тьма. В другом стихотворении (139) ночь окликается такими словами:

О, нежный синевасильковый букет Ночи!

Букет из цветов синего василька – это и есть ночь, нечто нежное, мягкое, кроткое. Соответственно этому синий дикий зверь называется еще и «робкой дичью» (104), «нежным зверем» (97). Букет в основание своей увязанности втягивает из синевы глубину священного. Священное (das Heilige) светит из синевы, одновременно утаивая себя в своем собственном сумраке. Священное сдерживает себя и вместе с тем укрывает. Оно одаривает своим прибытием, в то же время оберегая себя в утаивающе-сдержанном себя-отнятии. Утаиваемое в сумраке свеченье (Helle) есть синева. Первоначально hell, hallend (звонкий, звучащий) означало звук, исходивший из укрытости тишины, дающий себе таким образом ясность, све-

ченье. Синева звучит своим свеченьем и рассветным блеском, и одновременно она звенит. В звонкости ее свеченья сияет сумрак синевы.

Шаги чужеземца (пришельца) звенят сквозь серебряный блеск-звучанье Ночи. В одном из стихотворений (104) говорится:

В священную синеву уходят, звеня, светящиеся шаги.

В другом месте (110) синева описывается так:

...священства синих цветов... созерцатель коснулся.

Еще в одном стихотворении (85) есть такое место:

*...Звериный лик
оцепеневший пред Синевой, пред ее святостью.*

Синева, лазурь – не образ для обозначения смысла Священного. Синева есть сама по себе (вследствие своей собирающе-концентрирующей, в самоутаивании светящейся глубины) Святое. Перед лицом Синева, а также благодаря чистоте этой Синева обретя самообладание, лицо животного цепенеет и трансформируется в лик дикого лесного существа.

Оцепенелость звериного лица – отнюдь не оцепенелость умершего. Цепеня, как бы застывая, лик зверя приходит в содрогание. Весь его облик обретает концентрацию, такую степень сосредоточенности, которая позволяет ему, овладев собой, смотреть в «зеркало истины» (85), двигаясь навстречу Священному. Созерцать означает: входить в Молчание.

Могуче молчанье, укрытое в камне. –

Так гласит следующая строка цитированного стихотворения. Камень есть со-крытие (Ge-birge)² боли. Горная порода собирает и укрывает в каменности то кротко-нежное, что утишает боль сущностного. «Пред Синевой» боль умолкает. Перед лицом Синевы лик дикого зверя возвращает себя в кротость. Ибо Кроткое, по определению, есть миролюбиво сосредоточенное. Оно преобразовывает внутренний разлад тем, что всё раненое и обожженное дикой местности преодолевает в утишинной боли.

Кто тот синий дикарь, к которому взывает поэт? (Кстати, здесь можно было бы вспомнить и о Пришельце.) Зверь? Безусловно. Но только ли зверь?

² Gebirge – горная порода, горы. (Прим. перев.)

Ни в коем случае. Ибо он призван припоминать. Его лик высматривает Пришельца (Чужеземца) и устремленно всматривается в него. Синий дикий зверь (*das blaue Wild*) – это животное, чья принадлежность к животному миру покоится скорее всего не в животности или зверности, но в той памятности созерцания, к которой взывает поэт. Зверность этого рода еще далека от нас и едва ли может быть увидена. Ибо зверность названного здесь зверя колеблется в неопределенности, которая еще не вошла в свою сущность. Этот зверь, а именно: зверь думающий, *animal rationale*, человек, – говоря словами Ницше, еще не вполне определился.

Это высказывание ни в коем случае не означает, будто человек еще «не установлен» как факт. Как раз он, пожалуй, даже слишком несомненен. Нет, име-

ется в виду вот что: звериность этого зверя еще не вошла в свою устойчивую окончательность, то есть не пришла «домой», не вошла в туземность, в Родное своего утаенного существа и своей сущности. Западно-европейская метафизика, начиная с Платона, борется за это у-становление, устойчивое определение. И быть может, борется она напрасно. Быть может, путь ей в это «по-пути-следование» еще пока заказан. Сегодняшний человек и есть этот зверь, еще не определенный, не укорененный в своей сущности.

Поэтическим именем «дикого синего зверя» Трагль окликает то человеческое существо, чей лик, то есть встречный взгляд, по ходу раздумий о шагах Пришельца (Чужеземца) увиден Синеюй ночи и благодаря этому озарен Священным. Именем «голубого дикого зверя» называется то Смертное, что

любило вспоминать о Пришельце и странствовать вместе с ним, познавая исконно-туземное человеческого существа.

Кто же они, начинающие такое странствие? Вероятно, их немного и они неизвестны, равно как всё Существенное случается в тиши, и притом внезапно и редко. Поэт повествует о таком страннике в стихотворении «Зимний вечер» (126), вторая строфа которого начинается так:

*Потаенными тропами странствуя,
некто к воротам подходит.*

Синий дикий зверь, где и когда бы он ни существовал, покинул прежний сущностный образ человека. Существовавший до сих пор и существу-

ющий человек деградирует, чахнет, так как теряет свою сущность и вследствие этого тлеет, разлагается.

Одно из своих стихотворений Трахль назвал «Семипсалмие смерти». Семь – число священное. Священство смерти поет свою песнь, свой псалом. Смерть предстоит здесь не неопределенно смутно в виде некоего окончания земной жизни. «Смерть» мыслится здесь поэтически как тот «Закат», в который призывается «чужестранное» (Пришелец). Потому-то званое таким образом чужестранное именуется также «мертвым» (146). Однако эта смерть – не тление, не распад, но прощальный уход от разлагающегося, тленно-растленного образа человека. О том говорит предпоследняя строфа стихотворения «Семипсалмие смерти» (142):

*О, прогнивший проект человека:
структура холодных металлов;
ночь и ужас лесов затонувших,
поыхание чащи дикого зверя;
ни дуновения в душах.*

Этот прогнивший проект человека отдан на муку жженья и колотья шиповного. Его звериность не просвечена Синевой. Душа этого человеческого проекта, этой человеческой формы не предстоит ветру Священного. Потому-то она – вне странствия. И ветер, божий ветер пребывает поэтому в одиночестве. Стихотворение (99), повествующее о синем диком звере, которому едва ли удастся освободиться из «колючих зарослей терновника», завершается такими строками:

*И все же поет и поет
у черных стен
одинокий Господа ветер.*

«И все же» означает: покуда год и, соответственно, солнечное движение пребывают в зимней омраченности, и никто не вспоминает о тропе, по которой «звонкими шагами» Чужеземец пересекает ночь. Эта ночь сама есть всего лишь сокрывающий покров солнечного движения. Двигаться, *íevnai*, поиндогермански – *ier: das Jahr* – год.

*Запомни синего зверя тропы его дикой,
блаженного пенья лет жизни его духоносных!*
(169)

Молитвенность, духоносность (*Geistliche*) этих

лет естественно вытекает из духоносно брезжущей Синевы Ночи.

*...О, как серьезен гиацинтовый лик погружения
в сумрак рассветный.
«В пути» (102)*

289

Духоносная, и в этом смысле священная, сумеречность столь исполнена сущности существования, что поэт называет одно из своих стихотворений – «Священные сумерки» (137). В нем тоже встречается дикий зверь, правда сумеречно-темный. Его «дикость», первобытность устремлена главным образом в темноту, в молчаливо-тихую синеву заката. При этом сам поэт движется «на черном облаке» сквозь «ночное озеро звездного неба».

Вот как звучит это стихотворение:

СВЯЩЕННЫЕ СУМЕРКИ

*Тишина на опушке лесной
обнимает смутного зверя.
У холма тихо ветер вечерний скончался.*

*Дрозда стенанья затихли.
Осени нежные флейты
в тростнике приумолкли.*

*Пьяный от мака,
плыву на облаке черном
по ночного озера глубям,
по звездному небу.*

*Лунный голос сестры неумолчно поёт,
наполняя священную ночь.*

Звездное небо изображено в поэтическом образе ночного озера. Так это мыслит обыкновенность наших представлений. Однако ночное небо в подлинности его существа и есть озеро. В сравнении с ним то, что мы обычно называем ночью, скорее является именно что образом, то есть выцветшей и опустошенной копией ее сущности. В стихи Тракля пруд, озеро, озерное зеркало приходят часто. То черные, то голубые воды являют человеку его собственный лик, встречно-отраженный взгляд. А в ночном озере звездного неба является брезжащая Синева духоносной ночи. Ее сияющий блеск – прохладен.

Исток прохладного свеченья – лунный свет. От сиянья Луны бледнеют и даже холодеют звезды, как о том повествуют стихи древнегреческих поэтов. Всё становится «лунным». Шагающего сквозь

Ночь чужака, чужеземца зовут «Лунный» (134). «Лунный голос» сестры, неотступно звучащий в священной (духоносной) Ночи, слушает брат, плывущий в лодке, которая еще «черна» и едва озаряема золотом Чужеземца-пришельца, вослед которому он устремляется в своем ночном плаваньи по озеру.

Когда смертные отправляются странствовать вослед призванным в Закат «чужакам», в данном случае Чужеземцу-пришельцу, они сами оказываются в Чужом, сами становятся Чужеземными и Одинокими (64, 87 и др.).

В следовании по ночному звездному озеру (а это – небо над землей) душа ис-следует Землю лишь в ее «прохладной лимфе, свежем соке» (126). Душа ускользает в вечернюю брезжащую Голубизну духо-

носного года, становясь «осенней душой» и вследствие этого – «сине-голубой душой».

Немногие строфы и строки, упомянутые здесь, указывающие на духоносные (священные) сумерки, ведут на тропу Чужеземца, проясняя породу и путь тех, кто, вспоминая-помня о Чужеземце-пришельце, следуют за ним в Закат. Ко времени «склона лета» Чужое в своих странствиях становится осенним и сумрачным.

«Осенней душой» назвал Трактль стихотворение (124), предпоследняя строфа которого звучит так:

*Рыбы, птицы прочь скользят.
Скоро синь Души пробудим –
Тех, любимых, позабудем.
Образы вспуржит Закат.*

Странники, следующие за Чужеземцем-пришельцем, очень скоро обнаруживают себя разведенными с «любимыми», являющимися для них «Теми», Другими. Другие, Иные, Те – это порода растленного образа человека.

Эти из одного замеса порожденные и в этом замесе, в этой породе перемешанные человеческие существа наш язык называет «родом» (Geschlecht). Слово это обозначает как человеческий род в смысле человечества, так и роды в смысле племен, кланов, колен и семей, а все это, в свою очередь, порождено в двойственности полов (der Geschlechter). Породу «разлагающегося образа» человека поэт называет «растленным родом» (186). Это выброшенный из сортности своего существа, своей сущности и потому – «ужасающий» (162) род.

Чем же этот род поражен и, значит, проклят? По-гречески проклятье звучит *ener*, по-немецки «Schlag» – удар; паралич; порода (людей). Проклятье растленного (выродившегося) рода состоит в том, что этот ветхий человеческий род разбит и разгромлен раздором полов. Изнутри этого раскола каждый из полов страстно устремлен к раскрепощающему восстанию некогда единой и обнаженной первобытности зверя. Не двуполость как таковая, но раздор и разлад являются проклятьем. Силой смуты слепой первобытности этот раздор вводит человеческий род в раздвоенность, обрекая таким образом на опущенную разобщенность. Раздвоенный и расколотый «растленный род», исходя из себя самого уже не может больше быть в истинном ритме, в верном чекане. Верный, истинный ритм и чекан – лишь с тем

родом, с той человеческой породой, которая, испытывая странствуя, свою двойственность решительно переводит из состояния внутреннего раздора в кротость простодушной двукратности, становящейся таким образом тем «Чужим», что следует за Чужеземцем-пришельцем.

По отношению к этому Пришельцу все потомки растленного, разлагающегося рода остаются Другими. Тем не менее любовь и уважение соотносятся именно с ними. Сумрачное странствие в компании с Пришельцем так или иначе приводит в Синеву его Ночи. Странствующая душа становится «голубой душой».

Однако одновременно с этим она есть душа ушедшая. Куда? Туда, где бредет Чужеземец (Fremdling), время от времени называемый указательным сло-

вом «Тот». «Тот» (Jener) в старонемецком звучало как «ener» и означало «другой». «Enert dem Bach» – другая сторона ручья. «Jener», Тот, Чужеземец, Пришелец – это другой по отношению к Другим, то есть к разлагающемуся человеческому роду. «Тот» (Некто) – это отозванный прочь от Других. Чужеземец – это У-единенный, От-деленный (Abgeschiedene)³.

Куда указывает, куда направляет тот, кто принял в себя сущность Чужого, то есть странствующий впереди? Куда позван Чужак? В закат, в гибельный закат. Он есть Утрата-себя в духоносно-священных сумерках Синева. Он движется из склонности к духоносному Году. И хотя этот склон должен проходить сквозь разрушительность близящейся

³ Основное значение слова «der Abgeschiedene» – усопший, покойник. (Прим. перев.)

зимы – сквозь ноябрь, тем не менее эта утрата-себя вовсе не означает впадения в неустойчивость или в уничтожение. Себя-утрата означает скорее некий буквальный смысл: отделение и медленное удаление, ускользание. Утративший себя исчезает в ноябрьской опустошительности, однако ни в коем случае не в ноябрьской опустошенности. Он скользит, минуя ее насквозь, в духоносные сумерки Синевы, «zur Vesper» (к Весперу, вечерней звезде), то есть под вечер, ближе к ночи.

К ночи в черном ноябрьском хаóсе

*затерялся чужак-незнакомец,
в гуще ломких ветвей, вдоль богатой настенной проказы;
там монах проходил незадолго,
в сумасшествия нежные струны всецело ушедший
«Гелиан» (87)*

Вечер – это склон дня духоносного Года. Вечер осуществляет перемену, смену. Склоняясь к Духоносному, вечер дает возможность увидеть иное, задуматься об ином.

Вечер кружит лик и смысл.

(124)

299

Светящееся, кажущееся (Scheinende), чьи облики (образы, формы) сказывает поэт, посредством этого вечера выявляет (кажет) Иное. Сущее, над невидимостью коего задумываются мыслители, посредством этого вечера находит поистине иное слово. Исходя из иных образов и смыслов, вечер трансформирует сказ поэзии и сказ мышления, трансформирует также и их диалог. Однако вечеру

это удастся лишь потому, что он сам трансформируется, меняется, блуждает. Посредством него день движется к уклону, который отнюдь не является концом, но вследствие своей уникальной склонности подготавливает тот закат, благодаря которому Пришелец входит в *начальную фазу* своего странствия. Вечер меняет свой собственный образ и свой собственный смысл. В этой перемене скрыто прощание с прежним господством времени дня и времени года.

Однако куда сопровождает вечер темное странствие голубой Души? Туда, где всё Иное накапливается, собирается, прячется и хоронясь для иного восхода.

Вышеназванные строки указывают на сосредоточение, на средоточие, то есть на некое место, мест-

ность. Что же это за местность? Как нам следует ее называть? И притом следуя мерке языка поэта, исходя из нее. Весь сказ поэзии Георга Тракля концентрируется вокруг странствующего Чужеземца-пришельца, находя в нем средоточие. Пришелец является и зовется Отрешенным, Отделенным (der Abgeschiedene). Именно посредством него и вокруг него поэтическая речь, поэтическое сказывание настроено на одну-единственную песнь. И поскольку поэтические создания этого поэта сконцентрированы в песне Отрешенного, мы называем местность его поэзии *Отрешенностью*.

Теперь нужно попытаться сделать второй шаг в истолковании-омествовании (Erörterung), подробнее озаботиться этой местностью, до сих пор лишь указанной.

II

А нельзя ли еще и специально, под углом зрения местности поэмы (*Ort des Gedichtes*), вдумчиво всмотреться в эту отрешенность? Если в общем, то пусть будет так, как будто мы, следуя за светлым взором тропы Пришельца, вопрошаем: кто этот Отрешенный? Каков пейзаж его троп?

Эти тропы проходят сквозь опьяняющую небесную лазурь. Свет, которым светятся его шаги, прохладен. Завершающая строка одного из тех стихотворений, что специально посвящены “Отрешенному”, сообщает о “лунных тропах Отрешенных”⁴. У нас таких отрешив-

⁴ “Die Abgeschlossenheit” означает отрешенность, уединенность, оторванность от жизни; “der Abgeschiedene” – соответственно тот, кто уже вполне “оторвался от жизни”, – усопший, покойный, вполне отрешенный. (Прим. перев.)

шихся и уединившихся зовут также мертвецами, покойниками. Но какой смертью умер этот Пришелец, этот чужак? В стихотворении “Псалом” Тракль говорит:

Умер безумец.

В следующей строфе говорится:

Погребают пришельца.

В “Семичастной песни смерти” (“Семипсалмие смерти”) его зовут “белым (седым) пришельцем”. В последней строфе стихотворения “Псалом” сообщается:

В могиле своей играет со змеями белый колдун.

(65)

Умерший живет в своей могиле. Он живет там в своей камере так тихо и мечтательно, что играет со своими змеями. Которые ничего против него не имеют. Они не задушены, а злое начало в них трансформировано. В то же время в стихотворении “Проклятые” (120) говорится:

*Гнездо ярко-красных змей лениво сплетаемо
в их взбудораженных недрах.*

(Ср. 161, 164)

Умерший – это безумец. Имеется в виду душевнобольной? Нет. Безумие (Wahnsinn) вовсе не означает тот ум, что ошибочно избрал неумное, бессмысленное. “Wahn” (самообман, иллюзия, греза, заблуждение) восходит к древневерхненемецкому *wana*

и означает *ohne* (без). Безумец (*der Wahnsinnige*) мыслит, размышляет (*sinnt*), и притом мыслит столь интенсивно, как обычно никто. Однако при этом он обходится без того сознания, без того разума (*Sinn*), что свойственны другим. В нем другое сознание. “*Sinnan*” (букв.: к смыслу) первоначально означало: путешествовать, устремляться к ..., выбирать направление; индогерманский корень *sent* (*set*) означает путь. Отрешенный, отошедший (*der Abgeschiedene*) – это тот безумец, чей путь лежит в каком-то ином направлении. Глядя оттуда, его безумие можно назвать “кротким” (*sanft*)⁵, ибо он размышляет вослед более тихому, молчаливому, тайному. Стихотворение, где о Пришельце говорится просто как о “Том”, другом, гласит:

⁵ *sanft* – нежный, мягкий, кроткий (нем.) – Перев.

*По каменной лестнице, по склону Монашьей горы
Тот опускался. Голубела улыбка, и, странно
окуклившись в тихие детства затоны, он умер.*

Стихотворение называется “К одному рано умершему” (135). Отрешенный – это тот, кто медленно умер в юности. Поэтому он – “нежный труп” (105, 146 и др.), погруженный в то детство, которое храняще утишивает в своей дикой местности все страстное и пылающее. Поэтому умерший в юности является в качестве “смутного образа прохлады”. О ней повествуется в стихотворении, названном “У Монашьей горы” (113):

*Неотступно за странником следует
темный образ прохлады*

*над костистой тропею, тихо шепча
сиринцевым голосом отрока
забытую леса легенду...*

“Темный образ прохлады” идет не вслед страннику. Он идет впереди него, в то время как лазоревый голос мальчика возвращает забытое, как бы *суфлируя* его.

Кто же этот на жизненном рассвете медленно умерший отрок? Кто же этот отрок, чье

*... Тихо чело кровоточит:
то древность легенд,
темнота иероглифов птичьих полетов.*

(97)

Кто он, движущийся по усеянной костями тропинке путник? Поэт окликает его такими словами:

О, как давно уже, Элис, ты умер!

Элис – это призванный к гибели Пришелец. Однако Элис – ни в коем случае не образ, в котором Тракль видел самого себя. Элис отличается от поэта столь же существенно, сколь мыслитель Ницше – от образа Заратустры. Но два этих образа сходятся в том, что их сущность, существо и их странствие начинаются с гибели и распада. Гибель-закат Элиса восходит к древнейшей рани, которая старше даже, чем состарившийся разлагающийся человеческий род, – старше, потому что более мысляще-размышляюща; более мысляще-размышляюща, потому что

более тихая; более тихая, потому что сама есть успокоение.

В образе отрока Элиса мальчишество пребывает отнюдь не в противопоставлении к девичеству. Отрочество здесь – проявление тихого, молчаливого детства, которое скрывает и накапливает в себе кроткую сдвоенность пола, таящего в себе и юношу, и равно с ним “золотой девичий образ”.

Элис – это не мертвец, разлагающийся в сумерках дряхления. Элис – мертвый, пребывающий в рассветной дезинфекции. Этот пришелец развертывает человеческую сущность и подводит ее к тому, что еще никак себя не явило. Это упокоенное и потому молчаливо-тихое Недоношенное в существе смертного поэт и называет нерожденным.

На своем рассвете скончавшийся пришелец и есть нерожденный. Слова “нерожденный” и “пришелец” (чужак, чужеземец) означают одно. В стихотворении “Светлая весна” (26) есть такая строчка:

А нерожденный покой и тишину свою хранит.

Он пестует и бережет (хранит) молчаливо-тихое детство в наступающем пробуждении человеческого рода. Потому-то рано-умерший упокоенно *живет*. Отрешенный (ушедший, усопший) – это отнюдь не зачахше-омертвелый в смысле отпадшести от жизни. Напротив. Отрешенный, глядя далеко вперед, прозревает Синеву духоносной ночи. Белые веки, охраняющие его созерцание, озарены свадебными драгоценностями, предвещающими кроткую двойственность человеческого рода.

Над покойника веками белыми тихо мирт зацветает.

Строка эта – из стихотворения, в котором сказано:

То душа – чужестранка на этой Земле!

Два эти стиха находятся в непосредственном соседстве. “Покойник” – это Отрешенный, усопший, чужак, нерожденный.

Но есть еще и

*... тропа Нерожденного
к мрачным деревьям ведет,
к временам одинокого лета.*

“Урочная песнь” (101)

Этот путь, подводя Нерожденного к тому, что не впускает его как гостя, проводит его поблизости, но это уже не сквозное движение. И хотя странствие Отрешенного одиноко, все же это одиночество “ночного озера, звездного неба”. Безумец плывет по этому озеру не на “черном облаке”, а на золотой лодке. Что здесь означает “золотое”? На это есть ответ в стихотворении “Укромное место в лесу” (33):

Безумию кроткому часто являются златость и правда.

Тропа пришельца-чужеземца проходит сквозь “пронизанные духом годы”, чьи дни неизменно укоренены в подлинности истока, который правит ими, и потому эти дни – истинны, правдивы. Год его души суммируется в правдивости.

О! Сколь правдивы, Элис, все твои дни!

Так звучит одна из строк стихотворения “Элис”. Но этот возглас – лишь эхо другого, который мы уже слышали:

О, как давно скончался ты, Элис!

313

Та ранняя пора, когда скончался Чужеземец, таит в себе сущностную правоту Нерожденного. Эта утренняя пора – время особого рода, время “пронизанных духом лет”. Одно из своих стихотворений Тракль озаглавил скромным словом “Год”. Начинается оно так: “Сумеречная тишина детства”. Ему противостоит более светлое, то есть более тихо-молчаливое и потому совсем иное детство той ранней

поры, когда погиб Отрешенный. Это более молчаливо-тихое детство в завершающей строчке стихотворения называется Началом:

Золотое око Начала, сумеречное терпенье Конца.

Конец здесь не есть следствие и замирание-угасание начала. Этот конец, будучи концом разлагающегося человеческого рода, предшествует началу нерожденного человечества. И тем не менее это Начало в качестве ранней рани уже обогнало вышеозначенный Конец.

В этой рани прячется продолжающая утаивать себя первоначальная сущность времени. Для господствующего типа мышления это и впредь будет оставаться закрытым до тех пор, покуда будут про-

должать иметь силу начавшиеся с Аристотеля представления о времени, в соответствии с которыми время – не важно, представлять ли его механически, динамически или с точки зрения атомного распада – есть размерность количественной или качественной оценки длительности, вершащейся в линейной последовательности.

315

Но подлинное время есть пришествие (рождение) бывшего. Которое есть не прошлое, но сосредоточенность того сущего, что предшествует всякому пришествию, покуда в качестве такой сосредоточенности оно утаивает себя в чем-то более раннем. Концу и его завершению соответствует “сумеречное терпение”. Оно несет тайну навстречу ее правде. Эта выносливость уносит все в гибельный распад в голубизне пронизанной сиянием ночи. Началу же со-

ответствуют созерцания и мечты, сияющие золотом, ибо они озарены “златостью, правдой”. Всё это отражается в звездном озере той Ночи, которой Элис открывает свое сердце в процессе плавания (98):

*Элис, чёлн золотой
твое сердце качает на небесах одиноких.*

Лодка чужеземца покачивается, но – играючись, вовсе не так “боязливо” (200), как лодка тех потомков ранней рани, которые лишь следуют за Чужеземцем. Их челн еще не подошел к вершине озерного зеркала. Он тонет. Но где? В погибельности? Нет. И куда он погружается? В пустое Ничто? Ни в коем случае. Одно из последних стихотворений, “Жалоба” (200), заканчивается такими строками:

*Сестра штормящей тоски,
взгляни: испуганный челн
всё глубже в звезды уходит,
в ночи безмолвной Лицо.*

317

Что скрывает это молчание ночи, смотрящее нам навстречу блеском звезд? К чему оно вместе с ночью более всего имеет отношение? К отрешенности. Последняя же не исчерпывается состоянием, свойственным бытию мертвых, где живет мальчик Элис.

Отрешенности принадлежит ранняя пора молчаливо-тихого детства, принадлежит голубая ночь, ночные тропы Чужеземца, принадлежит ночной взмах крыльев души, принадлежат даже и сумерки, будучи вратами в Закат.

Отрешенность соединяет в одно целое все эти взаимоотношения, однако не задним числом, но так, что сама развивается и расцветает в этом царственном воссоединении.

Сумерки, ночь, годы чужеземца-пришельца, его тропу поэт определяет в качестве “пронизанных духом” (geistliche). Отрешенность – “духоносна” (geistlich). Что подразумевается под этим словом? Значение его и пользование этим значением древни. “Духоносное” – это то, что находится в смысловых границах духа (Geist), происходит от него и следует за его сущностью. Сегодняшнее привычное словоупотребление ограничило “духоносное” его отношением к “священнослужителям”, к духовному статусу жрецов или церковей, ими возглавляемых. У Тракия, по-видимому, тоже просматривается этот смысл (по

крайней мере, при поверхностном чтении), если, скажем, обратится к стихотворению “В Хельбрунне” (191), где он говорит:

*О, как священна (geistlich) первая зелень
дубов над забытыми тропами мертвых,*

319

когда перед этим сказано о “тнях церковных владык, дам благородных”, и кажется, что “тени давно усопших” зыбко колышутся над “весенним озером”. Однако поэт здесь, вновь воспевая “голубой плач вечера” и наблюдая за тем, как дубы “священно зеленеют”, думает при этом вовсе не о духовенстве. Он думает о той ранней поре давно Умершего, которая обещает “весну души”. Ни о чем ином не поется и в более раннем стихотворении “Духоносная песнь”

(20), лишь в более скрытой и еще неявно форме. Дух этой “Духоносной песни”, играющей в странную неопределенность, отчетливее определяет себя словесно в последней строфе:

*Там нищий возле старых стен
в молитве, кажется, скончался.
С холмов спускается задумчивый пастух;
запел вдруг ангел в перелеске,
где, притулившись и обнявшись крепко,
спят ребяташки.*

Но если поэт не вкладывает в “духоносное” смыслов, идущих от духовенства, но лишь определяет то, что имеет отношение к духу, то почему бы ему на худой конец не воспользоваться словом “духовный”

(geistig) и не говорить о духовных сумерках, духовной ночи? Почему он избегает слова “духовный” (geistig)? Да потому что “духовное” используется в качестве противопоставления материально-вещественному; и, демонстрируя различие двух этих сфер, оно именуется, выражаясь платоново-западно-европейским языком, пропасть между сверхчувственным и чувственным.

Понятое таким образом духовное, преобразовавшееся между тем в рациональное, интеллектуальное и идеологическое, принадлежит (вместе со своим антиподом) мировоззрению разлагающегося человеческого рода. Однако от последнего как раз и *открещиваются* “смутные блуждания” “голубой души”. Сумерки в канун Ночи, в которые уходит Чужбинно-незнакомое, имеют столь же мало ос-

нований именоваться “духовными”, сколь и тропа Чужеземца. Отрешенность – духоносна, пронизана духом, порождена духом, и тем не менее она отнюдь не “духовна” в метафизическом смысле.

Но что такое дух? В своем последнем стихотворении “Гродек” Тракль говорит о “горячем пламени духа” (201). Дух – это нечто пылающее и, быть может, лишь в этом качестве – веющее. Для Тракля дух изначально не дыхание, и постигает он его не спиритуалистически, но в качестве пламени, которое возгорается, пугая, приводя в ужас, выводя из себя. Это пламя – возгоревшийся фонарь, светило. Пылание – это пребывание Вне-себя, могущее светиться и вспыхивать, но также и все пожирать, превращая в белизну пепла.

“Пламя – брат Наибледнейшего” – сказано в стихотворении “Трансформация зла” (129). Тракль со-

зерцает “дух” (Geist) из той сущности, что может быть названа “духом” в исконно-первоначальном значении этого слова, ибо *gheis* означает: быть рассерженным, объятым ужасом, быть вне себя.

Так понимаемый дух обладает возможностью как кротости, *так и* разрушительности. Начало кротости ни в коем случае не ослабляет этого Вне-себя воспламеняющегося, но держит его собранно-сосредоточенным в покое дружелюбности. Разрушительное начало приходит из той распушенности, которая изводит себя своим собственным смятением и приводит в действие зло и коварство. Зло всегда есть зло духа (eines Geistes). Зло, грех и злоба – не чувственны, не материальны. В то же время их природа не вполне “духовна”. Зло, грех духоносны (geistlich) в качестве ослепленно возгорающегося мятежа того,

кто приходит в ужас, кому угрожает переход в несобранность беды, а собранно-сосредоточенное цветение кротости грозит быть спаленным.

Однако где покоится сосредоточенность кроткого? Каковы его поводы? Какой дух держит их? Каким образом человеческое существо является и становится “духоносным”?

В той мере, в какой сущность духа пребывает в возгоранье, он пробивает себе дорогу, освещает ее и выходит на путь. В качестве пламени дух есть атака, “добивающаяся невозможного” (букв.: “штурмующая небо”. – Н.Б.) и “настигающая Бога” (187). Дух гонит душу в промежуточность дороги, где она пускается в предварительное странствие. Дух перемещает ее в Чужое. “Душа на Земле – чужестранна”. Дух есть то, что одаривает душой. Дух – воодуше-

витель. Однако душа, в свою очередь, охраняет дух, и это столь существенно, что, вероятно, дух никогда не смог бы без души пребывать духом. Она “питает” дух. Каким образом? Не иначе как пламя своей сути душа отдает в ленное владение духу. Это пламя и есть жар тоски, “кротость одинокой души” (55).

325

Одиночество обособляет отнюдь не в то распыление, в которое брошена каждая подлинная покинутость. Одиночество приводит душу к Единственно-особенному, оно концентрирует душу в единство и таким образом выводит ее сущность в странствие. В качестве одинокой души она есть душа странствующая. Жар ее души востребован к тому, чтобы тяжесть судьбы – и таким образом душу навстречу духу – нести в странствие.

Одолжи свое пламя духу, о страстная тоска, –

так начинается стихотворение “К Люциферу”, то есть к носителю света, отбрасывающему тень зла.

Тоска души возгорается лишь там, где душа, отправляясь в странствие, входит в дальние дали своей собственной, то есть странствующей, сущности. Такое случается, когда она открывает взор навстречу лику Голубизны (Синева) и созерцает идущий оттуда свет. Таким образом в качестве созерцающей душа является “великой душой”.

*О боль, ты – пламенное созерцанье
великой души!*

“Гроза” (183)

Величие души измеряется тем, насколько она способна к тому пламенному созерцанию, благодаря которому она в боли обретает себе дом. Боли свойственна некая в себе противоюркая сущность.

Боль увлекает своим “пыланьем”. Это увлечение, этот порыв вводит странствующую душу в движения атаки, погони; чтобы, штурмуя небо, можно было настичь Бога. Кажется, что этот порыв хочет преодолеть то, куда он стремится; вместо того, чтобы дать ему господствовать в его потаенном свеченье.

Однако последнее достигается созерцанием, которое не гасит пламенный порыв, но несколько отклоняет к податливости наблюдающего приятя. Созерцание – это возвратный рывок в боль, благодаря которому она становится милосердной

и вследствие этого сопроводительной и безутайно-господствующей.

Дух есть пламя. Распаляясь, оно светит. Свечение совершается во взоре созерцания. Такому созерцанию сопутствует появление сияния, в котором пребывает все бытийствующее. Это пламенное созерцание есть боль. Любой субъект, которому его восприятия и ощущения приносят боль, пребывает в самозамкнутой скрытности. Пылающее созерцание определяет величие души.

Дух, созидающий “великую душу”, является болью воодушевления. Но, значит, одаренная душа есть само Воскрешающе-оживляющее. Поэтому каждый, кто живет по-своему, управляет ведущей чертой своего существа – болью. Все, что живет, – болезненно.

Лишь то, что живет одушевленно, в состоянии исполнить свое сущностное предназначение. Сила этой способности дает возможность гармонии того попеременного Себя-несения, которым услушивается всё живущее. Соответственно этому соотношению пригодности, все, что живет, – пригодно, то есть хорошо. Но всякое хорошее, всякое благо – мучительно-болезненно хорошо.

Всё одушевленное, в соответствии с основной чертой великой души, не только мучительно-болезненно хорошо, но и единственно, благодаря этому, правдиво; ибо сила противоюрокности боли дает возможность живущему, вполне по-своему утаивающе-раскрывающему свое соприсутствие, быть правдивым, подлинным.

Последняя строфа одного из стихотворений (26) начинается так:

Как мучительно хорошо и правдиво всё, что живет!

Может показаться, что эта строка касается мучительного бегло. В действительности она возбуждает энергию сказывания всей строфы, настроенной на умолчание боли. Чтобы услышать все это, важно не пропустить и не отвергнуть тщательно расставленных знаков препинания. Строфа продолжается следующим образом:

Осторожно коснулся тебя старый камень:

Вновь звучит “осторожно”, скользящее каждый раз в наиболее существенные моменты. Снова появляется “камень”, который, если позволить себе подсчеты, встречается в стихах Тракля более тридцати раз. В

камне скрывается боль; окаменевая, она прячется в закрытости горной породы, в явлении которой высвечивает себя исконная древность тихого жара той наираннейшей рани, которая в качестве предшествующего начала приходит ко всему становящемуся, странствующему, принося ему тем не менее всегда ускользящее от него рождение его существа.

Старые камни – сама боль, покуда они естественно-природно смотрят на смертных. Двоеточие после слова “камень” в конце строки указывает на то, что здесь говорит сам камень. Сама боль обретает речь. После долгого молчания боль сообщает странникам, следующим за Чужестранцем, ни более, ни менее как о своем господстве и о своих долготях:

Воистину всегда пребуду с вами!

Странники, среди листвы прислушивающиеся к
Рано-умершему, как бы возражают этому речению
боли в последующей строке:

О рот, лепечущий устами ивы серебристой!

Вся строфа этого стихотворения соответствует
финалу второй строфы другого стихотворения, об-
ращенного “К одному рано почившему” (135):

332

*Остался в саду серебрящийся образ друга,
Из листвы и старых камней он все еще слушает нас.*

Строфа, начинающаяся строчкой:

Как мучительно хорошо и правдиво все, что живет! –

является настоящим эхом началу третьей части стихотворения, которому она принадлежит:

Но сколь болезненно сияет все становящееся!

333

Искаженное, заторможенное, бедствующее и неизлечимое, всё то горестно-мучительное, что есть в устремленном в гибель, – в действительности является тем единственным явленно видимым, где скрывается подлинное: всепроникающая боль. Поэтому боль не есть ни гадкое, ни полезное. Боль – милость Реальности всему существу. Простодушие своего противоюркого существа становление выстраивает из сокровенности ранней рани, настраиваясь на просветленность великой души.

*Сквозь боли лепоту правдиво все живет.
Неслышимо касается тебя древнейший камень:
воистину навек пребуду с вами.
О, как лепечет ивы серебристой рот!*

Строфа эта – истинная песнь боли, спетая, дабы завершить трехчастное стихотворение “Светлая весна”. Добрая ясность ранней рани всякого начинающего существа сотрясается внутренней дрожью из тишины сокровенной боли.

Обычному представлению противоюркая сущность боли, освободиться от которой, собственно, можно лишь посредством возвратного рывка, легко покажется абсурдной. Однако именно в таком выявлении скрывается сущностное простодушие боли, которое, пылая, уносится к самому отдаленному, в

то же время удерживаясь в созерцании наиболее задушевного.

Таким образом, боль в качестве основной характеристики великой души длит свое чистое соответствие святости Синева. Ибо последняя светит навстречу лику души, в то время как та уходит в свои собственные глубины. Святое длится, покуда бытийствует, причем уклончиво сдерживает себя, придавая созерцанию кротость.

Обретя словесное выражение, сущность боли тайные свои взаимоотношения с Синева обнаружила в последней строфе стихотворения “Просветление” (114):

*Цветок голубой
тихо поет из желти камней.*

“Цветок голубой” – это “нежный букет синих васильков” священной Ночи. Этой речью воспет исток, к которому восходит творчество Тракля. Одновременно она заключает в себе, она несет “просветление”. Поэтическая песнь – это романс, трагедия и эпос в единстве.

Это стихотворение уникально среди остальных, ибо в нем широта созерцания, глубина мысли, простота речи *светятся* сердечно-искренне и ровно неким несказанным образом.

Боль лишь тогда подлинна, когда служит пламени духа. Последнее стихотворение Тракля называется “Гродек”. Превознося, его называют стихотворением о войне. Однако оно о чем-то бесконечно большем, ибо о другом. Его последние строки гласят (201):

*Горячее пламя духа питает ныне могучую боль,
нерожденных внуков.*

337

Упомянутые здесь внуки – ни в коем случае не оставшиеся незачатыми сыновья павших сынов, восходящих к растленному человеческому роду. Если бы речь шла лишь об этом, о прекращении воспроизводства предыдущих поколений, тогда поэт мог бы лишь ликовать по поводу такого финала. Но он печалится; правда, печалится “величаво-гордой” печалью, пламенно созерцающей покой Нерожденных.

Нерожденные называются внуками, ибо они не могут быть сыновьями, то есть непосредственными потомками падшего рода. Между ними и настоящим поколением живет некая иная генерация. Она – иная, ибо другого типа, соответственно сво-

ему иному сущностному происхождению из рас-светной рани Нерожденного. “Могучая боль” – это всёсожигающее созерцание, заглядывающее в пока еще уклоняющуюся рань того Мертвеца, навстречу которому устремлялись, умирая, “души” тех, кто погибли юными.

Но кто же хранит эту могучую боль, если она питает жаркое пламя духа? Все, что одной породы с этим духом, принадлежит к энергии, выводящей на путь. Все, что одной породы с этим духом, зовется “духоносным” (geistlich), священным. Поэтому поэт “духоносно-священными” называет сумерки, ночь и годы: в первую очередь это и исключительно это. Сумерки дают возможность явиться Синеве ночи, ее воспламененью. Ночь пылает как светящееся зеркало звездного озера. Год возгорается, поскольку он

покоится на пути солнечного движения, его восходов и закатов.

Что же это за дух, побуждающий “Духоносное” к бодрствованию и к следованию за собой? Это тот самый дух, что в стихотворении “К одному рано почившему” специально назван “духом почившего в юности” (136). Это дух, уводящий в отрешенность “нищего” из “Духовной песни” (20), и тот говорит (как это видно из стихотворения “В деревне”, 81), что “бедняк” пребывает “в духе одиноко умершим”.

Отрешенность бытийствует в качестве чистого духа. Она есть покоящееся в своей глубине, тихо пылающее сияние Синева, воспламеняющей тихое детство в золото Начала. Навстречу этой рани смотрит золотой лик образа Элиса. В его встречной взоре рань сохраняет ночное пламя духа отрешенности.

Так что отрешенность не есть ни состояние Рано-умершего, ни некое неопределенное место его пребывания. Отрешенность по сути своего пылания есть собственно Дух и в качестве такового она – сама сосредоточенность, забирающая сущность умерших и приводящая их назад в их тихое детство, укрывающая их и защищающая как еще не выношенную породу людей, которой предстоит создать будущий человеческий род. Эта сосредоточенность, внутренняя центрированность отрешенности бережет Нерожденное, перенося его поверх отжившего в грядущее возрождение человеческого рода, возрождение из глубин рассветной рани. В качестве духа кротости эта внутренняя сосредоточенность утишивает также и духа зла, мятеж которого достигает предельного коварства тогда,

когда он, прорвавшись из разлада полов, врывается в сферу сестринско-братского.

Однако сестринско-братская раздвоенность человеческого рода таится и в тихой простоте детства. В отрешенности дух зла ни уничтожается/отрицается, ни высвобождается/самоутверждается. Зло здесь преобразовывается. Чтобы такое “преобразование” выдержать, душа должна обратиться к величию своей сущности. Масштаб этого величия определяется духом отрешенности. Отрешенность – это та сосредоточенность (собранность), благодаря которой человеческая сущность укрывается-спасается в своем тихом детстве, а само детство – в ранней рани следующего (в возвратном порядке) начала. В качестве такой собранности отрешенность обладает сущностью местности.

Но каким образом отрешенность становится местностью поэмы, – той поэмы, которую образуют стихи Георга Тракля? Да и имеет ли отрешенность вообще и по своей сути отношение к сочинению стихов? И даже если такое отношение доминирует, каким образом отрешенности удастся привлечь поэтическую речь, поэтическое сказывание к себе как к местности этой речи и распоряжаться ею оттуда?

Но есть ли отрешенность – одинокое молчание тишины? Каким образом отрешенность указывает путь сказыванию и пенью? Но ведь отрешенность не является уединенностью-безысходностью отмершего. В отрешенности Чужеземец исследует свое прощание с прежним родом. Он находится на пути к некой тропе. Что это за тропа? Подчеркнуто отчетливо поэт говорит об этом в демонстративно от-

деленной финальной строке стихотворения “Склон лета” (169):

*Запомни тропы его дикой синего зверя,
блаженного пенья тех лет его духоносных!*

343

Тропа Чужеземца – это “блаженное пенье его духоносных лет”. Это шаги Элиса звенят. Это звучащие шаги светятся в Ночи. Затихает ли в пустоте их блаженное пенье? И в каком смысле отрешен Умерший-в-ранней-рани – в смысле избранности, предназначенности, то есть отозван в ту соборность, которая собирает кротко и созывает тихо? Во второй и третьей строфах стихотворения “Одному рано почившему” (135) этим нашим вопросам подан знак:

*Но Тот по склону Монашьей горы
ступенями каменных лестниц спускался.
Играла улыбка – небесный отсвет в лице, и, странно
окуклившись в тихие детства затоны, он умер,
оставив в саду серебряный оболоч друга;
он слышит нас в гуще листвы или в древних камнях.*

*Душа воспевала смерть, зеленое тление плоти,
ей вторил шелест лесов, страстные жалобы птиц.
Вечерних колоколов голубой перезвон не кончался.*

344

Друг прислушивается вослед Чужеземцу. И в этом вслушивании он следует за Отрешенным, сам незаметно становясь странником, пришельцем, чужеземцем. Душа друга прислушивается к Умершему. Лик друга – “умирающий” (143). Он вслушивается,

в то же время воспевая смерть. Потому-то этот поющий голос есть “птичий голос подобия смерти” (“Странник”, 143). Он соответствует смерти Чужеземца (Пришельца), его гибельному уходу в Синеву ночи. Но вместе со смертью отрешенного он воспекает и “зеленое тленьё” того рода, от которого его “отделяет” сумеречное бродяжничество, странствие.

Петь означает благословлять, сберегая пением благословляемое. Прислушивающийся друг – один из “благословляющих пастырей” (143). Однако душа друга, “радостно внимающая сказкам седого мага”, лишь тогда способна подпевать Отрешенному, когда отрешенность сама встречно звучит этому Наследнику, преемнику, когда звучит звучное блаженное пенье, когда, как об этом говорится в “Вечерней пес-

ни” (83), “сумеречный блаженный звук настагает душу”.

Когда это происходит, тогда дух Рано-почившего является в сиянии ранней рани, духоносные годы которой суть подлинное время Чужеземца и его друга. В сиянии этих лет облако, прежде бывшее черным, превращается в золотое. Оно становится похожим на “золотой челн”, подобный тому, который раскачивает на одиноком небе сердца Элиса.

Последняя строфа стихотворения “Одному рано почившему” (136) звучит так:

*Золото облаков, времени зыбь. В одинокую комнату
все чаще покойного в гости зову.
Все доверчивей наша беседа, когда мы с ним рядом бредем,
опускаясь под вязы все ниже по теченью зеленой реки.*

Поражающе блаженному звуку шагов Чужеземца соответствует приглашение друга к разговору. Их сказыванье, их речи – поющее странствие вниз по реке, следование в гибельный закат ночной Синевы, оживляющей дух Рано-ушедшего. В ходе этой беседы поющий друг созерцает Отрешенного. Посредством этого созерцания он во встречном взгляде Чужеземца становится ему братом. Странствуя с Чужеземцем, брат достигает кроткого жительствова в ранней-рани. В “Песни отрешенного” (177) он возглашает:

О жительствова в одухотворенной Синеве ночи!

Однако ему внимающий друг поет “Песнь отрешенного” и таким образом становится ему братом,

брат Чужеземца впервые благодаря этому становится братом своей сестре, чей “лунный голос звучит в священной ночи”, о чем повествует финальная строка стихотворения “Священный сумерки” (137).

Отрешенность есть местность поэмы, ибо блаженный звук звеняще-свистящих шагов Чужеземца возжигает темное странствие тех, кто следует за ним, до состояния услышивающегося пенья. Их странствие темно потому, что лишь последующе-преемственное странствие высветит однажды их души в Синеве. Сущность поющей души – некое особое пред-видение в Синеве ночи, хранящей кроткую раннюю рань.

Голубое мгновение? Лишь чуточку больше души, –

сказано в стихотворении “Детство” (104).

Так завершается существо отрешенности, которая лишь тогда становится завершено-совершенной местностью поэмы, когда, будучи средоточием тихого детства и одновременно могилой Чужеземца, собирает к себе тех, кто следует за Рано-ушедшим в гибельный закат; и вот, внимая ему, они переводят блаженное пенье его тропы в сообщительство реальной речи, превращаясь в этом процессе в Отрешенно-усопших. Их пенье – сочинение стихов. Как это удастся? Что значит сочинять стихи?

Сочинять стихи значит: пере-сказывать; вторить изреченному блаженному пенью духа отрешенности. Сочинение стихов, прежде чем стать сказыванием в смысле выраженности-обнаруженности, длительнейше являет себя в качестве вслушивания. Отрешенность вводит вслушива-

ние в свое блаженное пенье, дабы оно музыкально просквозило сказыванье, в коем оно обретает свою вторую жизнь. Лунная прохлада священной Синевы духоносной ночи наполняет звуком и сияньем полноту созерцанья и сказыванья. Их язык становится, таким образом, пере-сказывающим, становится поэзией. Высказанное пасет стихотворение в качестве сущностно несказанного. Это посредством вслушивания призванное пере-сказывание становится благодаря этому “более кротким”, то есть более податливым по отношению к зову тропы, по которой Чужеземец идет вперед: из сумрака детства в тихую, ясную предрассветность. Потому-то вслушивающийся поэт и говорит, обращаясь к себе:

*Всё смиреннее смысл постигаешь этих сумрачных лет,
эту прохладу и осень комнат совсем одиноких;
о, как уходят в священную даль синевы, как сияют шаги!*

“Детство” (104)

Душа, воспевающая осень и склон года, не погружена в распад. Ее кротость воспламенена пламенем духа Ранней-рани, и, следовательно, эта душа огненна:

*О душа, тихо поющая песнь камыша пожелтевшего;
огненна кротость твоя.*

Так сказано в стихотворении “Сон и умопомрачение” (157). Названная здесь помраченность⁶ (равно как безумие или помешательство) не есть простое

⁶ Umnachtung – букв.: оноченность, окруженность ночью. (Прим. перев.)

помрачение духа. Ночь, мрак которой окутывает со всех сторон поющего брата Чужеземца, это “духоносно-священная ночь” той смерти, которую Отрешенный умер в “золотом ознобе” ранней-рани. Всмотриваясь в эту смерть, прислушивающийся друг всматривается в прохладу тихого детства. Это созерцание мало-помалу становится разрывом с давно рожденным человеческим родом, забывшим тихое детство как всегда открытое начало и никогда не пытавшимся вынашивать Нерожденное. Стихотворение “Аниф” (134), по названию замка (вблизи Зальцбурга), окруженного рвом с водой, повествует:

Рожденный виновен безмерно.

*О, этого злата ознобного боль,
благоговения смерти;
снятся душе гроздьях холодных соцветий.*

Но не только разрыв со старым родом стоит за этим “О!” боли. Этот разрыв умело-решительно-скрытно устремлен к тому отрешенью, которое взывает из отрешенности. Странствие в ее Ночи – это “бесконечная мука”. Однако это вовсе не бесконечная пытка. Бесконечное свободно от любого конечного ограничения и слабости. “Бесконечная мука” – это завершенная, совершенная, вошедшая в полноту своей сущности боль. Лишь в странствии по духоносной ночи, блуждание по которой всегда является разрывом с бездуховностью, впервые приходит простодушная простота бесхитростности (противоюрокости), трансформирующая боль в чистую игру. Кротость духа позвана к выслеживанию Бога, а робость духа – к штурму небес.

Стихотворение “Ночь” гласит:

*Мука без края –
погоня за Богом
в обществе кроткого Духа,
чьи вздохи – во тьме водопада,
в кипенье форели.*

Пламенный рывок этого штурма и выслеживания-погони не в состоянии одолеть “крутую крепость”; он не уничтожает настигаемое, но позволяет возродиться в созерцании облику неба, чья чистая прохлада укрывает Бога. Поющие думы этого странствия осеняют чело вершины, пронзенной совершенной болью. Потому-то стихотворение “Ночь” (187) заканчивается такими строками:

*Штурмует небеса
окаменевшая глава.*

Вполне соответствует этому финал “Сердца” (180):

*Крута же крепость.
О сердце,
как ты мерцаешь там
в заснеженной прохладе.*

Вообще, аккорд трех поздних стихотворений – “Сердце”, “Гроза” и “Ночь” – столь определенно укоренен в единстве и тождестве музыки Отрешенности, что искомая местность поэмы обретает здесь свою определенность, вовсе не нуждаясь в каких-либо толкованиях звучащей музыки названных стихотворений.

Блуждание по Отрешенности, созерцание ликов Невидимого и совершенная боль составляют здесь одно целое. Тот, кто терпелив, сливается со своей добычей. Лишь он один способен на возвращение в Раннюю-рань человеческого рода, чья судьба хранит список генеалогического древа (старую книгу друзей и гостей дома), в которой поэт вписывает (под заглавием “В одну старинную генеалогическую книгу”) следующую строфу:

*Кротко покорствуем боли Полный-терпенья,
пенья пронзенный блаженством и кротким безумьем.
Но посмотри! Уже сумерки входят.*

В этом блаженном пенье сказыванья поэт превращает светящиеся лики и пейзажи, в которых укрывается Бог, в Сияние.

Потому-то об этом лишь “нашептано после полудня”, как сказывает поэт в стихотворении под одноименным названием (54):

*О палитре Бога мечтает чело,
в осязательных касаньях нежных крыльев безумья.*

357

Сочиняющий стихи лишь тогда становится поэтом, когда идет за “Безумцем”, медленно умиравшим в юности, а сейчас из своей отрешенности следующим в ритмах блаженного звука своей поступи и зовущим за собой своего Брата. Так лик друга взирает на лик Чужеземца. Сияние этого “мгновения” побуждает слушающего к сказыванию. В подвижном сиянии, излучаемом местностью поэмы, закипает волна, подвигающая по-

этическое сказывание, поэтическую речь к ее собственному языку.

Следовательно, каков язык поэзии Тракля? Он изъясняет себя в той мере, в какой соответствует пути, на который выводит в своем движении Чужеземец. Тропа, которую он избрал, ведет прочь от старого выродившегося рода. Он движется к Закату в открыто-сохранную рань нерожденного рода. Язык поэтической речи, местность которой – в отрешенности, соответствует возвращению нерожденного человеческого рода к тихому началу его кроткой сущности.

Язык этой поэзии глаголет из переходного состояния. Его тропа – в переходе от заката обреченного-деградирующего к закату в сумеречной Синеве святости. Язык поэтического произведения глаго-

лет из этой переправы посредством ночного озера духоносной ночи. Эта речь поет песнь отрешенного возвращения домой, движущегося из поздней поры тленья и останавливающегося в ранней рани смиренного, еще никогда не бывшего Начала. В этой речи изрекается сама пребываемость в пути, в сиянии которой является озаренно-поющее блаженнозвучие духоносных лет отрешенного Чужеземца. “Песнь отрешенного”, говоря словами стихотворения “Откровение и гибель” (194), воспекает “красоту возвращающегося на родину рода”.

Поскольку речь этого стихотворения исходит из пребываемости в пути отрешенного, постольку она постоянно глаголет также и из того, от чего отрешается, прощаясь, а также из того, на что она себя в этом отречении обрекает. Язык поэтического про-

изведения сущностно многозначен, и притом своим собственным оригинальным образом. Мы ничего не услышим в поэтическом сказывании, если обнаружим в стихотворении лишь некий затупившийся смысл одного-единственного однозначного предположения.

Сумерки и ночь, гибель и смерть, безумие и дикий зверь, пруд и камень, птичий полет и лодка, прищелец и брат, душа и Бог, равно как цветовые обозначения: голубой и зеленый, белый и черный, красный и серебристый, золотой и темно-смуглый, – звучат многократно, вновь и вновь.

“Зеленый” – тленно-тлеющий и расцветающий, “белый” – бледный и чистый, “черный” – мрачно-замкнутый и сумеречно-укрытый, “красный” – пурпурово-плотский и радужно-нежный.

“Серебриста” – бледность смерти, но и сверкание звезд – “серебристо”. “Золотой” – блеск истины и “чудовищный хохот золота” (133). Отмеченная здесь многозначность пока что двузначна. Однако эта двузначность, эта двойственность сама в свою очередь в качестве целого восходит к одной из сторон того, чья другая сторона определяема задушевнейшей местностью стихотворения.

Поэтическое произведение говорит из глубины двойственной двойственности. И все же эта неоднозначность поэтического высказывания не растекается в неопределенной двусмысленности. Многозначный тон поэзии Тракля имеет своим истоком концентрацию, то есть ту гармонию, что, взятая сама по себе, всегда остается несказанной. Многозначность этого поэтического сказывания – отнюдь

не неточность небрежности, но как раз строгость той бережности, с какой она отправляется участвовать в добросовестной точности “праведного созерцания”, всецело подчиняясь ему.

Эту в самой себе абсолютно надежную неоднозначность сказывания, свойственную поэтическим произведениям Тракля, бывает довольно трудно отграничить от языка тех поэтов, чья многозначность проистекает из неопределенности и неуверенности их поэтического блуждания на ощупь, – на ощупь, ибо у них отсутствует собственная поэма и ее местность. Уникальная строгость сущностно многозначного языка Тракля в некоем высшем смысле столь недвусмысленно однозначна, что бесконечно превосходит даже и всякую техническую точность предельно научных однозначных понятий.

В своеобразно многозначной речи, обусловленной местностью поэзии Тракля, нередко звучат слова, принадлежащие к миру библейских и церковных представлений. Переход от ветхого рода к роду нерожденному ведет через эту область и, соответственно, через ее язык. На христианском языке говорит поэзия Тракля, в какой мере и в каком именно смысле, каким образом поэт был “христианином”, что в этом случае, да и вообще, можно подразумевать под “христианским”, “христианским миром”, “христианством” – всё это весьма существенные вопросы. Однако их истолкование провисает в пустоте, покада со всей обстоятельностью не определена местность поэмы, поэтического строя речи. Сверх того, истолкование этих вопросов потребовало бы размышлений, для которых не

хватило бы понятий ни метафизических, ни, соответственно, церковной теологии.

Помочь составить мнение о “христианскости” поэзии Тракля могли бы прежде всего два его последних стихотворения – “Жалоба” и “Гродек”. Уместно спросить: почему здесь, в крайней бедственности своего последнего сказывания, поэт, если он действительно убежденный христианин, взывает не к Богу и не к Христу? Почему вместо этих имен он называет “нерешительную тень сестры”, а затем ее же в качестве “приветствующей”? Почему песнь заканчивается не обнадеживающей перспективой христианского спасения, а словами о “нерожденных внуках”? Почему сестра является и в другом из последних стихотворений – “Жалобе” (200)? Почему вечность называется здесь “ледяной волной”? Разве это по-

христиански? Это не назовешь даже и христианским отчаянием.

Но о чем же поет эта “Жалоба”? Разве в этом “Сестра... Взгляни...” не звучит сердечное простодушие того, кто, несмотря на тотальную угрозу полного уничтожения сакральности, все же остается странствовать навстречу “золотому человеческому лику”?

365

Строгая гармония многоголосой речи, из которой глаголет (можно бы сказать, что одновременно и молчит) поэзия Тракля, соответствует Отрешенности как местности, топосу поэмы. По-настоящему наблюдать за этой местностью – уже достаточный материал для размышлений. И едва ли мы осмелимся в завершении вопрошать о мествовании самого этого топоса.

III

Последнее указание на отрешенность как местность поэзии мы получили, сделав первый шаг в комментировании предпоследней строфы стихотворения “Душа осени” (124). В ней говорится о странниках, следующих тропею Чужеземца (Пришельца) сквозь духоносную (священную) ночь, ибо они “живут в ее одушевленной Синеве”.

*Рыбы, птицы прочь скользят.
Скоро синь души пробудим –
Тех, любимых, позабудем.*

Свободную область, обещающую проживание и предоставляющую его, наш язык называет “стра-

ной”. Переход в страну Чужеземца (Пришельца) происходит в духоносных сумерках вечера. Поэтому в последней строке строфы и говорится:

Образы вспуржит Закат⁷.

367

Страна, в которую уходит Почивший-в-юности, – это страна такого вечера, такого заката. Мествоование местности, концентрируемой, собираемой в стихотворении Тракля, – есть скрытая сущность отрешенности и называется она “Вечерней страной” (“Западом”). Эта западная страна, этот Запад старше (то есть представлен раньше и потому более многообещающ), нежели платоново-христианское и даже вообще европейское. Ибо отрешенность – это “на-

⁷ Другой вариант перевода: “Вечер кружит лик и смысл”.

чало” восходящего Мирового года, а не гибельная пучина.

Укрытая в отрешенности Вечерняя страна (Запад) не гибнет, но остается, продолжая ожидать своих жителей в качестве страны заката-захода в духоносную Ночь. Эта страна захода есть переход к началу скрытой в ней Утренней рани.

Так можно ли все еще, если задуматься, говорить о случайности, обнаружив, что два стихотворения Тракля названы *Вечерней страной*? Одно из них прямо так и называется – “Вечерняя страна” (“Запад”, 177). Название второго – “Западная песнь” (139). Поется в ней о том же, что и в “Песне отрешенного”. Песнь начинается с изумленно-преклоненного возгласа:

О души ночной крылатый взмах:

Стих заканчивается двоеточием, которое включает в себя всё за ним следующее вплоть до перехода из заката в рассвет. В этом новом месте стихотворения перед двумя заключительными строчками стоит второе двоеточие, за которым следует простое слово: “*Ein Geschlecht*”⁸. “*Ein*” (некий, единый, один) – подчеркнуто. В стихотворениях Тракля, насколько я заметил, это единственное слово, помеченное разрядкой. Подчеркнутое “*Ein Geschlecht*” скрывает ту основную мелодию, посредством которой творчество этого поэта умалчивает тайну. Единство этого “единого рода-поколения-пола” порождает породу людей, которая благодаря отрешенности и господствующей в ней молчаливо-чуткой тишине, благо-

⁸ Многозначное слово. Основные значения: род (человеческий); поколение; род, семья; пол (мужской, женский). – Перев..

даря “лесным преданьям”, благодаря “мере и закону”, двигаясь по “лунной тропе отрешенности”, просто-душно единит раздор полов в кроткую двусоставность.

“*Ein*” в сочетании “*Ein Geschlecht*” вовсе не означает “один” вместо “двух”. Не означает он также некой монотонности пресного равенства-тождества. Под словом “*Ein Geschlecht*” здесь вообще не подразумевается никакой биологический состав преступления: ни “однополовость”, ни “гомосексуальность”. В подчеркнутости “единого пола-рода” скрывается то единящее единство, что приходит из концентрированной Синевы духоносной Ночи. Слово это звучит в песне, воспевающей Вечернюю страну. Следовательно, слово “*Geschlecht*” обладает здесь своим полным, уже называвшимся прежде, комбиниро-

ванно-сложным значением. Во-первых, оно подразумевает исторический человеческий род, человечество в противоположность к остальному живому (растениям и животным). Далее словом “Geschlecht” называют поколения, роды, кланы, семьи этого человеческого рода. Кроме того и одновременно с этим слово “Geschlecht” всегда подразумевает половую двойственность.

Порода людей, претворяющая эту двойственность в наивное простодушие “единого пола” и таким образом возвращающая кланы человеческого рода и вместе с этим саму себя в кротость тихого детства, победит, если сумеет дать душе выйти на путь к “голубой весне”. Именно ее воспевают душа, когда молчит о ней. Стихотворение “В сумерках” (151) начинается такой строкой:

В молчании душа о голубой весне.

Глагол “молчать” (schweigen) использован здесь в транзитивном значении (es schweigt). Стихотворение Тракля воспевает страну Вечера (Запада), будучи единственным обращением поэта к событию истинной породы людей, чья речь трансформирует пламя духа в кротость. В “Песне о Каспаре Хаузере” (115) говорится:

*То Бог воззвал в его сердце нежное пламя
воспеть человека.*

Это “воззвал” (sprach) употреблено здесь в том же самом транзитивном значении, как и только что названное “молчит” (schweigt), или “кровоточит”

(blutet) в стихотворении “Мальчику Элису” (97), или “журчит” (rauscht) в последней строке стихотворения “У Монашьей горы” (113).

Божья речь есть обращение-утешение, указующее человеку его молчаливо-тихую сущность и посредством этого призыва-совета зовущее его к тому соответствию-отклику, благодаря которому он из своего губельного заката воскреснет в Утренней рани. “Вечерняя страна” (Запад) таит в себе восход Утренней рани “Единого рода-пола”.

Сколь близоруко думать, будто певец “Песни Вечерней страны” – поэт гибели и распада! Сколь половинчат и туп наш слух, когда другое стихотворение Тракля – “Вечерняя страна” (171) – мы сплошь и рядом цитируем лишь из третьей, последней, его части, а среднюю часть этого триптиха

вместе с подготовительной первой частью упорно пропускаем мимо ушей! В стихотворении “Вечерняя страна” вновь появляется фигура Элиса, в то время как Гелиан и грезящий Себастьян в позднейших стихах так и не названы ни разу. Звучат шаги Чужеземца. Их строй соответствует “тихому духу” древнейших легенд леса. В средней части этого стихотворения уже преодолен финал, где названы “большие города, каменно взгромоздившиеся в долинах”. У них уже своя собственная судьба. И она существенно другая, нежели та, о которой говорится “на зеленом холме”, где “шумит весенняя гроза”, на холме, обладающем “истинным масштабом”; этот холм назван еще “вечерним (закатным) холмом” (150). Говорят о “глубиннейшей внеисторичности” Тракля. Что в этом случае понимают

под “историей”? Если представление о прошлом, тогда Тракль действительно внеисторичен. Его поэзия не нуждалась в исторических “предметах”. Почему так? Потому что его поэтическое творчество в высочайшем смысле исторично. Его поэзия воспеваает судьбу той породы людей, которая забрасывает человеческий род в предстоящую ему его сущность, то есть спасает его.

Поэзия Тракля поет песнь той души, которая, будучи “на Земле чужестранкой”, в своих странствиях впервые обретает Землю в качестве тихой родины возвращающегося домой человеческого рода.

Мечтательная романтика в стороне от технико-хозяйственного мира современного омассовленного бытия? Или же – ясное прозревающее знание “Без-

умца”, видящего и постигающего Иное, совсем не то, что видят и постигают репортеры актуального, истощающие себя историей современности, просчитанное будущее которой есть не более чем продление актуального, будущее, остающееся вне действия сил той судьбы, что является человеку лишь с началом действия его сущности?

Поэт видит, что душа, “некая чужестранность” посланы на тропу, которая ведет не в распад-гибель, но совсем напротив – в Закат, смиренно покоряющийся тому могучему умиранию, которым пред-умирает Почивший-в-юности. Вслед ему умирает Брат – в качестве Поющего. Друг, умирая и следуя за чужеземцем, ночует в духоносной Ночи года отрешенности. Его пение – “Песня пленного дрозда”. Так поэт назвал

стихотворение, посвященное Л. фон Фикеру. Дрозд – птица, позвавшая Элиса в Закат. Пойманный дрозд – птичий голос Того, кто подобен мертвым. Он пойман в одиночество золотых шагов, соответствующих плаванью того золотого челна, на котором сердце Элиса пересекает звездное озеро голубой Ночи, показывая тем самым душе дорогу к ее сущности.

То душа, но какая ж она чужестранка на этой Земле!

Душа движется в страну Вечера (Запада), управляемую духом отрешенности и, соответственно этому, являющуюся ”духоносной”.

Любые формулы, заданные выражения – опасны. Они уводят сказываемое в несущественные фор-

мальности скороспелых мнений, не позволяя размышлению свершиться. Однако они могут быть и полезны, будучи толчком или предлогом для кропотливого раздумья. Приняв эту оговорку, мы могли бы сформулировать следующее:

Истолкование творчества Георга Тракля, поиск местности его поэзии являют нам его в качестве поэта еще покуда скрытой Вечерней страны.

Это душа, чужестранка она на Земле.

Эта строка из стихотворения “Весна души” (149 и сл.). А стих, предшествующий тем последним строфам, куда входит эта фраза, гласит:

Безмерная мощь умиранья и пламя, поющее в сердце.

Далее идет восхождение песни в чистое эхо блаженного пенья тех духоносных лет, которые провел в странствиях Чужеземец (Пришелец), вослед которым идет Брат (монах), начинающий жить в Стране Вечера:

379

В водах, где пенье заката, – рыб прекрасные игры.

Час щемящей печали; молчаливый взор солнца;

Так вот же она – душа: на Земле чужестранка.

Синева дышит духом, брезжит над поваленным лесом;

долго звучит над деревней колокол, глухо и странно;

прощание скромно и тихо. Белые веки усопшего

мирт осенял, чуть зацветший.

*Тишайше воды журчат, по течению дня ускользя.
В сумерках тает вдали зелень кустов у реки,
радость в розовом ветре.
Нежное пенье монаха на Холме предзакатном.*

<1952 г.>

ГРЕЗЯЩИЙ ГЕЛИАН

Памяти друга детства Коли Нахабина

1

381

*В темной земле отдыхает священный пришелец.
С уст его нежных принял плачи сам Бог, дав погрузиться
вглубь своих ароматов. Цветок голубой песнь его
продолжает в ночном обиталище боли. Эту эпифанию,
сочиненную Траклем для Новалиса, легко переадресовать
самому Траклю, чей голубой цветок горячей слезой не
только пролился в ночи, но и продолжает мерцающе
гореть подобно звездным*

слезам. Не потому, что это якобы высокий символ (ставший, увы, общим местом), но потому, что звезды подобны распаду и гниению, и это сходство ничем не унять, как не унять похмельную дрожь, когда, очнувшись утром у водосточной трубы или в поле за городом, поэт чувствует себя переполненным звездным мусором, сором и пылью. И в то же время звезды у Тракля почти всегда затонувшие и мерцающие со дна озера еще и потому, что, как верно заметил Хайдеггер, небо и есть для поэта реальное бездонное озеро. Верх и низ опять же слились как наслаждение и боль, как возрождение и распад.

Траклевский голубой цветок — это кровь, струящаяся из горла, поющего песнь, дабы не быть заживо замороженным духами зла. В золоте облака, времени зыбь. Вечерние колокола пронзают духо-

носную синеву неизъяснимой пустотой своих не от мира сего вибраций. Стонут в чащах птицы от страсти, от невозможности ее удовлетворения в том времени, где идет гниение плоти. Этот запах отвратительно возбуждающ и бесплоден. От него зарождаются лишь новые шорохи гниений. Ангелы стучатся в ворота своими хрустальными пальцами лишь на раннем-раннем рассвете, где еще никто не в состоянии проснуться. Но тот, кто проснулся, оказывается в странном мутном сне, где об ангелах сообщают лишь на пыльных страницах старых архивов. Хрустально блистают лишь вазы да горсти воды в горных озерах, похожих на то, что некогда было с Пришельцем еще до рассвета. Туманна сумеречность не только плоти, но и духа. Однако сущность сумерек — их священство. Для созерцателя это оче-

видность, подобная той очевидности, что ночное озеро и звездное небо — одно и то же. Тот, кто хотя бы раз это пережил, знает это.

2

Однажды Георгу Траклю явилась медитационная сущность того струенья, которое было бы опрометчиво назвать только жизнью или только смертью. (Ибо сама по себе смерть, быть может, есть тоже струенье.) Суть этого струенья, этого то пурпурного, то пунцового, то голубого мерцанья, этой хрустальной, поющей (на неизвестных языках) прозрачности невозможно ухватить иначе как в совокупном корпусе этих магических песнопений, где слова расставлены отнюдь не в иррациональном беспорядке,

как иногда кажется: нет, в иррациональном порядке. Пришелец, чья дружба с поэтом Георгом Траклем и составляет формальный сюжет стихов, медитирует, поскольку это единственная форма его бытия, подсмотренная им у неких существ с той нашей родины, которая здесь уже отсутствует. Пришелец и не знает иного способа полета между мирами. А летать ему необходимо, поскольку он существо междумирное, залетное. «Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских...» Пушкин о том Моцарте, у которого даже нет могилы. Симптоматично. Как сомнительна смерть Тракля, ибо в реляциях краковского госпиталя указана смерть Георга Франкля 37 лет от роду, но никакого Тракля 27 лет в записях смертей нет. Говорят, это всего лишь ошибка врача или фельдшера, вполне объяснимая человеческим безумием

года 1914-го, однако даже если Георг Тракль и умер, что вполне объяснимо фактом гниения зеленой плоти, то Пришелец-то по определению умирает не с нами. И это самое, пожалуй, поразительное. Человек — всего лишь зверь, и это — лучшая из его личин. Но это лучшее все же съедобно для тленья, подобно сладкому телу сиротки, ждавшей небесного принца, но оказавшейся гниющей плотью в кустах лещины. И этот разрыв необходимо заполнить. И он заполняем медитацией Пришельца. Откуда Пришелец? Оттуда, где нет этого напряженного, болезненного томленья, но мистериальный экстаз фантастически покоен, как струенье лесного мшистого ручья. Пришелец андрогинно просветлен, и мрак романтически-христианской похоти не вошел в него, мрак останавливается перед ним в остолбене-

нии как перед чудесным самосветящимся алмазом. Однако в существе Пришельца — внимание к страданиям и боли. Сущность его священства двуединая. У самого Тракля это было выражено в высокой степени. С одной стороны, свойственная мистикам экстатичность (ибо созерцается неразъятость горенья жизни-смерти), с другой же стороны — захваченность мистерией страдания, разлитого вокруг. В «Волшебной стране» он рассказывает об одном опыте подобного двуединого чувства и в частности — о «священной, трепетной робости перед немым, до странности захватывающим страданием» больной девушки Марии. Однако главная тональность этой новеллы — медитационная: «Тогда мы часами молча сидели втроем». Часами, молча... Это опыт того, кто предназначен был с детства стать другом Пришель-

цу. Это опыт, подобный опыту души графа из новеллы «Забвение», «над тысячелетней усталой душой которого тяготел рок». Какого рода рок? Этой тайне, попытке ее разгадать отчасти посвящен весь корпус стихов Тракля, которые являются, несомненно, не только музыкой, но и исследованием, попыткой прорыва на крыльях говорения по наитию⁹. Так от-

⁹ Разве случайно Тракль был так привязан к явившемуся ему однажды символу — грезящему Себастьяну, чистому противоречию, которое тем не менее иногда вновь и вновь воплощается на земле? Конечно же, поэт был далек от того, чтобы напрямую ассоциировать своего лирического героя с раннехристианским мучеником, расстрелянным римлянами из луков. Хотя, несомненно, блаженное лицо Себастьяна, каким его изображают многочисленные христианские и околохристианские «иконы», и общий отрешенно-буддистский вид святого не могут не интриговать загадкой страдающей и в то же время не страдающей, поистине словно бы грезящей плоти. Причем плоть у Себастьяна на картинах, можно сказать, роскошна, цветуща

даются потоку сильной реки, притом что неизвестно, что это за река, в какой она местности, как называ-
и при этом страшно уязвлена стрелами, но тем не менее абсолютно покойна и умиротворена. Эта парадоксальная гамма всегда поражает при созерцании этого сюжета, вызывая то раздраженное недоумение, какое вызывает коан.

Тракль ассоциирует Себастьяна с грезой, его Себастьян — принимающий муки (многожды, неостановимо — «жало в плоть») и в то же время грезящий, сновидящий, — есть метафора жизни самого Тракля. Одновременность этих процессов дает картину, которую трудно удержать в сознании, она вновь и вновь требует своего восстановления и пульсирующего (дискретными точками) понимания. Страдать и грезить одновременно, принимать муки и блаженно сновидеть одновременно — поистине парадокс, но именно он-то и есть один из ключиков к пониманию «мировоззрения Тракля». Вновь и вновь вонзается в него острие жала, и он принимает эти страдания, глубоко вслушивается в них, но в то же самое время и грезит, продолжает блаженно грезить, пребывать в своем дрящемся живом мифе, который для него реальнее и «жизненнее» происходящего вовне, в мире умерщвленных вещей и «моральных» предписаний.

ваются и куда течет. Притом что протекает эта река в той твоей местности, которая самому тебе, скованному бытом и оболочкой века, почти неизвестна. И в этой местности место Пришельцу открывается как нельзя кстати. Какова же судьба? Каков же процесс? «Ступеньки безумья в комнатах черных, древние тени в дверях, распахнутых настежь. Здесь душа Гелиана себя созерцает в зеркале отсвета розы; снег и проказа сыпятся вниз с чела Гелиана». И что же дальше? «На стенах нет уже звезд, звезды потухли. А вместе с ними и белые призраки света...» И все же в итоге «тихо Господь над внуком голубые веки смыкает». Над внуком, «тихо сошедшим в помраченье». Сущность этого помраченья неясна, таинственна, размытна. Подобно неразгаданной сущности того помраченья, в которое сошел в свое время Гёльдер-

лин, ушедший из мира общепринятых словесных коммуникаций в мир «потусторонних» речевых связей; и в этой новой свободе, в этом новом одиночестве новый гений прожил три с половиной десятилетия. Это ли не Пришелец, замеченный лишь в XX веке и то немногими?

Настоящий поэт создает своим творчеством миф. Он размывает-растapливает свою хладно-рассудочную социальную личину в иррациональной плазме, где наша сущность соединяется наконец в гармониях и дисгармониях гигантской архитектоники с чем-то или кем-то, превышающим все назывные смыслы, внятные нам в нашем бы-

товом плоскостном, одномерном сомнамбулизме. Потому-то так наивны попытки постигать стихи Тракля сквозь призму его «биографических страданий». Говорят: была конкретная патологическая личность, гениально выразившая и свою патологичность, и свой поэтому неизбежный конфликт с реальным миром. Следовательно, изучим биографию и тогда поймем эзотерический смысл его таких закрытых, зашифрованных стихов. Но на самом деле нет ничего более закрытого и зашифрованного, чем жизнь любого человека, тем более столь ускользающего от любых идентификаций существа, каким является поэт, в зеркалах которого общающиеся с ним на самом деле видят лишь свои замшелые, обветшавшие, отдающие плесенью маски. И вот с их-то помощью пытаются постичь ту

«неизвестность самого себя», которая условно поименована Пришельцем, Чужеземцем, Чужаком.

Ключа к жизни любого человека у нас нет. Ключ есть лишь у того, кто сотворил и послал в мир этого человека. Потому любой человек зашифрован, и биографию его написать невозможно, ибо мы можем считывать лишь шаблонные мотивы «масок» либо отражения своих собственных примышлений к наблюдаемым «фактам», хотя сам по себе факт, как известно, абсолютно внеличностен, находясь в нечеловеческой плоскости. И лишь художник дает некоторую возможность прочтения своей биографии, поскольку ключом к ней может стать его творчество. Лишь этим ключиком можно что-то открыть, чтобы затем что-то понять в подлинном своеобразии и в подлинных страданиях того, чья энергетика формо-

вала миф, в центре которого всегда — вновь и вновь удаляющаяся неизвестность самого себя. Ибо наша индивидуальность, находящаяся за пределами слова и речи, есть *terra incognita*. Нам ведом лишь словесный театр, где роли заранее распределены. Поэт одним прыжком выходит за его пределы и движется на голой интуиции.

Потому-то один из частых и ведущих эпитетов в стихах Тракля — *dunkel*: темный, смутный, сумеречный, сумрачный, туманный, таинственный, неизвестный, неведомый. Это и синий (голубой) зверь, синяя птица, таящиеся в чаще, в лесах, в горах, иногда выходящие оттуда, это и тропы, по которым блуждают в “священных сумерках” брат с сестрой, это и Пришелец, носитель знания междумирного, это и некая внезапная гармония, являющаяся поэту,

внезапное пение, некая мелодия, не поддающаяся расшифровке. Через эпитет *dunkel* определяются духи дикого лесного ручья, прорывающиеся словно во сне в сердце поэта. Сумеречно-таинствен страх смерти. Из сумеречно-смутных сеней вышел золотой силуэт юной девы. Сумеречны яды белых снов. Сумеречно-смутны легенды титанов. «Смутно-неведомы зеркала моей души». И сама Земля — смутно-неведома. Неведомо-смутны, таинственно-сумеречны у Тракля и диалог между мужчиной и женщиной, и нежная мелодия ручья в еловой чаще; мелодия, семантика которой обладает не просто эмоцией, но именно смыслами, которые выходят за грань нам известного. Неведомо-смутны и внутренние уста человека, и взор сестры, чей лунный голос *неотступно звучит в священной ночи*; взор, изумленно

устремленный в брата, чья истерзанная родственность непостижима и уходит в тайну. Но эту тайну брат прочитывает в глазах сестры, в этих «знающих глазах», волхвующих из неких праглубин. И что же волхвуется из этой иррациональной, сверхумной глубины любовного притяжения? То, что поэт именует опять же с помощью эпитета «dunkel»: *ein dunkles Geschlecht* — некий неведомо-смутный, таинственно-неизвестный единый, нерасколотый, цельный пол (он же род). Подступ к некой тайне, грубо приближаться к которой поэт не решается, ибо дальше началась бы идеология. Брату с сестрой дано заглянуть в некий древне-мистериальный, отнюдь не фрейдовского толка, колодец. Поэт нарушает некое табу и исследует то, что молва называет осудительными терминами. Но молва и Тракль ведут речь

совершенно о разном. Обычно мужчина и женщина не разрешают себе увидеть друг в друге брата с сестрой, которых необъяснимый эрос и влечет друг к другу, и смущенно приостанавливает на каждом этапе. В каком измерении достижима подлинная андрогинность? Это на самом деле неизвестно. Тем более сегодня, в хаосе неслыханного «культурного» варварства, имитирующего раскованное неоязычество. Что означает это взволнованное романтическое всматриванье в ночные бездны глаз друг друга мужчины и женщины, имеющих мужество осознать себя братом и сестрой? В мощи этого вопроса — сила неоткрытого смысла, воздерживающего нас от автоматизма обычных действий и обычных ответов. В контексте сумеречно-ночного мира Тракля, где действуют энергии Пришельца, своеобразие

этих необнаруженных смыслов особенно предощу-
щается как энергетическое поле с большим объемом
нехоженных троп.

4

Контакт с обществом поэту, если он, конечно, поэт в изначальном смысле слова, не может удалиться. Одна из изначальных интуиций поэзии — предугадывать тот факт, что мир улавливает человека в тенетах функционального мышления и чувствования. Поэт прорывается в «потустороннее». Но это потустороннее обнаруживается здесь, за ним не нужно уходить в космическое плавание. Точнее говоря, этот космический прорыв есть на самом деле трансформационный вербальный прыжок. Что про-

исходит при этом с эмпирическим телом поэта, мало кто способен понять, да и способен ли вообще? Станет ли, например, кто-нибудь задумываться над тем фактом, что чем больше вина выпивал Тракль, тем трезвее становился, во всяком случае внешне. Что означала эта его трезвость, это отрезвление?

И, конечно, надеяться отыскать в стихах поэта эмоциональные выплески «натуральной» чувственности — весьма наивное занятие. Поэзия Тракля клиширована внутри своей собственной системы координат подобно клишированности средневековой иконописи или японского театра Но, подобно клишированности древнеегипетского сакрального искусства, ибо и та, и другая, и третья, и четвертое пытаются свидетельствовать о некоей истине, но не о непрерывно обновляющихся (и бегущих сами от

себя) эмоциях или впечатлениях. Мир его поэзии пребывает в рамках системы с вполне ограниченным числом основополагающих образов, вещей, сущностей и эпитетов. (Пример с «dunkel» — типичный для поэтики Тракля). Образность его стихов избегает расширяющегося, разрастающегося словаря; напротив, словарь Тракля беден почти так, что вызывает ощущение некоторой философской или религиозной системы, воссоздаваемой, разумеется, интуитивно-бессознательно, спонтанно. Эта бедность — роскошна, как бедный словарь монаха или отшельника, она свидетельствует о том, что поэт нашел немногие вещи, глубина которых самодостаточна. Эти вещи, эти сущности, эти духи, этот ландшафт не есть эстетические феномены, сменяемые новыми, иными: нет — эти феномены не только физичны, но

и метафизичны, потому-то поэт кружит в пространстве, которое и есть место схождения этого и иного миров. Здесь и происходит явление Пришельца, способного приходить и уходить и разрушающего наш плоскостный миф.

В траклевском мифологически монотонном, монашески скупом на слова пространстве сосуществуют по своим законам и так называемые живые, и так называемые мертвые (покойники), и так называемые нерожденные. Они бытийствуют не в разных мирах, но в одном — здесь-и-сейчас в акте нашего вниманья, в акте нашего вполне магического контакта с сознанием Георга Тракля, уловленным минималистски выстроенной системой зеркал. Причем, ни один мотив стихов Тракля не закреплен намертво, он спроецирован так, что мерцает отблесками в

изменяющейся от точки зрения наблюдателя объемной перспективе. Мы не вполне знаем, например, куда влечет «лунный голос сестры» и о чем он, собственно, «неуклонно, неостановимо» поет. Мы не знаем, в чем тайна этого диалога, но мы ощущаем, сколь сверхрациональны эти соприкосновения, постоянно выходящие на странный уровень старинных японских хокку. С этим ощущением постоянно сталкиваешься, переводя Тракля: с прозрачным аскетически-дзэнским немногословием, гибким и хрупким одновременно. Потому столь слабы почти все имеющиеся переводы: неясно, каким образом воссоздать заново магическую структуру без введения дополнительных семантических блоков. Загадочность в текстах Тракля появляется как бы из ниоткуда, как это и происходит в дзэнском эстети-

ческом пространстве японской поэзии, в очевидной ненапряженности назывных смыслов, где бытию просто дается возможность *быть*, то есть пребывать как бы вне контекстов. И когда его не «напрягают», не хватают за «загрибок» в агрессивно-эпатажном раже или в исследовательском «волевом напоре», оно само по себе начинает давать излученье, где «запредметные» смыслы по существу прозрачны, а сознание наблюдателя начинает петь в актуальном проистекании смерти. Смерть входит в бытие так же спокойно, как и иные виды волхвований, не попадающих на зуб «исследователю». В поэзии Тракля, собственно, медитирует не человек, но то изначальное жизненно-смертное вещество, которое является всем — и озером, и звездами, и гниющей плотью, и свистящим меж каменных стен ветром, и хрусталь-

ным голосом ангела, и смрадными трупами возле ограды прекрасного сада. Эта траклевская полифония хорошо видна в его удивительном «Гелиане» или в «Псалме», посвященном Карлу Краусу. В этом «новом пространстве» конфликты между «этим» и «иным», между обыденно-захватанным и священным сняты в новом созерцательно-экстатическом синтезе. Человеческая обыденная жизнь предстает этому «внемирному» наблюдателю как таинство вне всяких смыслов, как одновременность загадочных, порой фантастических и жутких, но в любом случае завораживающих обрядов.

Мы не замечаем нашей реальной междумирности. Поэт как бы забегают вперед и сообщает о том, о чем мы, быть может, узнаем за последним пределом, а может быть и не узнаем никогда. Но забегают он не

для того, чтобы нам нечто сообщить. На самом деле он никуда не забегает: он — тот, кто уже умер и еще не родился.

5

405

Многие русские переводчики Тракля отчего-то всё тянут поэта в «духовные сумерки», то бишь в «сумерки духа». Хотя вовсе не нужно тяжелых орудий авторитета М. Хайдеггера, чтобы увидеть, что речь идет о духоносных, сакральных, священных сумерках, о том переходном состоянии дня, когда «открывается щель между мирами» и тревожное присутствие духа на земле более явственно, чем при прямом солнечном свете. И вообще вычитывание мрака (под знаком минус), гниения и распада, некой

неврастеничности и божемного надлома в строфах поэта русские переводчики ведут непомерно утрированно, вычитывая все это по существу из своих собственных внутренних установок. Поэт Тракль редкожно целомудрен и целокупен, и никакая биография, изучаемая «со стороны мрака», здесь ничего на самом деле не объясняет и не объяснит, разве что произнесет несколько тривиальных сентенций. Источник света имманентен отчаянно простодушному речевому потоку и безусловно трансцендентен тем обстоятельствам жизни, которые зафиксировали случайные спутники Георга, бредущие в своих воспоминаниях тропами неизбежно глубинно «ангажированных» интерпретаций.

Известно, сколь замороженно-настойчиво обсуждал Тракль с друзьями тему смерти. Однако досто-

верно мы знаем одно: в его поэзии эта тема никогда не звучит сама по себе, изолированно; она всегда — нить в полифоническом полотне, где одновременны монологи-отчеты духа смерти и духа жизни. Эта экстатика двуосновности бытия у Тракля даже более импульсивна, чем у Райнера Рильке в его поздней метафизической лирике. Рильке постигает единство жизни-смерти более созерцающе-отстраненно, сама его вовлеченность в эти тайны — внезапна как мгновенные прозрения; этот высокий ток пробивает существо поющего, и он поет, но поет все же извне — как заглянувший и все же вернувшийся. В его созерцаниях и медитациях много парадоксальной и эстетически пронзительной философичности. Тракль же весь — в самих биоритмах этой мессы, столь же плотски-языческой, сколь и астрально-

серафичной; внутри процесса, внутри состояния, одновременно и динамичного, и константного, неодолимо фатального и возвратного. И умершие, и нерожденные, и живые здесь в равной мере и неотвратно-реальны, и условно-призрачны. Грани между есть и не-есть весьма размыты, и размыты не по причинам восприятия или всяких там обстоятельств, а размыты в корневых ритмах вещей. Здесь лежит метафизическая тайна, вследствие которой логика «Гелиана» столь необъяснимо причудлива и столь изысканна.

Потрясающе зрелище гибели рода людского.

*В это мгновение очи смотрящего полнятся золотом,
золотом собственных звезд.*

*Вечером тонет игра колокольная, нет больше звуков,
рушатся черные стены на площади,
мертвый солдат взывает к молитве.*

*Ангелом бледным
сын возвращается в дом заброшенный предков.*

409

И вот, уже не из «Гелиана»:

*Ответь мне, где же мы были,
когда проплывали мимо
вечером в черной лодке?..*

Поэту неясно, абсолютно неизвестно, где он с сестрой. Что это за измерение, из которого он всматривается в «этот мир», где горят георгины вдоль старого палисад-

ника, как священные светильники в царстве сумтных сумеречных троп, троп из священства сумерек в еще более неведомое священство предрассветности.

*В даль среброликую к старцам сестры ушли незаметно.
Ночью спавший нашел их под колоннадой в прихожей —
только что возвратились*

с грустных паломничеств дальних.

410

*О, в волосах у них — грязь, нечистоты и черви!
Это он видит, стоя вблизи, в серебре его ноги.
А в это время из комнат пустых выходят умершие
тихо.*

О, эти псалмы их в огненном шуме дождя полуночном!

*Мерно холопы хлещут их кроткие очи крапивой;
детские кисти бузинные изумленно склонились
поверх опустевшей могилы.*

*Тихо свершают свой круг пожелтевшие луны
по лихорадке простынной того, кто еще только отрок,
в дали далекой пока что безмолвные зимы.*

411

О, эти псалмы в шуме ночного дождя, псалмы умерших, которые тихо вышли из пустых комнат. Вышли сами. Ибо мы сами приходим и уходим. Равно и Трагль пришел в поэзию и ушел из нее сам. Где же находимся мы, проплывающие сейчас мимо него в нашей черной лодке?

В измерении души, как ее понимает Тракль (*душа на земле чужестранка*), человек еще живой и человек уже умерший могут общаться, вести беседы, а *нерожденный* имеет опыт, ценный для того, кто рожден. (Вспомним, что по некоторым свидетельствам Тракль как-то обронил: «Я родился только наполовину». Что он этим хотел сказать? Не то ли, что «половина его» осталась там, за чертой рождения? И эта половина — чистая сущность души? И что таким образом некая сила мощно утягивает его назад, за горизонт, и он не в состоянии ей противиться? Что по самой своей сути он слишком слабо укоренен в играх земного муравейника и хотел бы назад, в лоно, в мир, где был совершенен?) Легко понять, почему

такая доминанта внимания в поэзии Тракля к тем, «кто рано ушел». Душа у этих отроков присутствует в своем обнажении, она еще метафизична, то есть не укрыта в функциональных чашах, еще не завалена хламом «познаний» и кошмаром «опыта». Она еще поддается простому созерцанию, и потому с ней легко вести *невербальный* разговор. Душа умершего в юности останется той же, проживи этот умерший еще пятьдесят лет. Другое дело, что она могла бы быть забыта им самим, не говоря об окружающих, считающих себя живыми, рожденными, существующими. Потому-то всякий, у кого доминанта на медитативных отношениях с душой, есть «рано ушедший». Знак некой человеческой общности. В то же время субъективно Тракль не мог не чувствовать себя настолько радикально «отрешенным», что во-

прос о скорости его «телесного истления» на Земле не был для него загадочным или смутным.

Разумеется, люди не знают, что им делать с душой. Либо забыть, либо определить ее по какому-либо профессиональному ведомству: и при месте будет, и пользу будет приносить, и под ногами не будет, жалобно плача, вертеться. Обычно человек, по какой-либо причине вдруг столкнувшийся с душой, испытывает приступ устрашающей беспредметной тоски и паники обесмысливания всего. Поэт же, проходя через эти стадии, отправляется в странствие. Что с ним произойдет при этом — неизвестно. Однако для него ясно одно: по какой бы тропе он ни отправился, она не приведет его к «дому». Странник не ждет награды за путь.

Странно ли, что Тракль включил нюрнбергского «маугли» Каспара Хаузера в круг своего поэтиче-

ского внимания? Этот выброшенный из социальной «паутины» юноша под пером Тракля предстает некой душой, слиянной с растительно-животным миром в его очищенности от «целей». Лексический контекст, благословляющий Каспара: куст, пурпурный холм, черный дрозд, зверь, звезда, Бог. В письме Э. Бушбеку весной 1912 года, отчаянно сопротивляясь перспективе стать на многие годы чиновником, к тому же в немилом ему Инсбруке, приходя в ужас от этой перспективы, Тракль восклицает: «К чему эти муки? В конце концов, я навсегда останусь бедным Каспаром Хаузером». То есть отрешенным.

Впрочем, разве это не извечное предназначение поэта: транслировать «тонкие токи», быть посредником между «духом» и человеческими коллективами? Но само это поэтическое «делание»,

будучи вполне автономной и вполне специфической религиозной деятельностью¹⁰, определенной

¹⁰ Трудно не согласиться с гипотезой (см., например, изыскания Роберта Грейвса), что некогда, в архаичную эпоху, где духовные и магические энергии в людях были неизмеримо более мощными и выраженными, поэт являлся фигурой высочайшего ранга, совмещая в ряде случаев функции вождя, священника и судьи или, во всяком случае, действуя с ними на равных. Фактически же в ту удивительную эпоху поэт был лидером тотемного сообщества религиозных певцов и танцоров, в буквальном смысле транслятором духовной силы — как вполне реальной и ощутимо-действенной энергии, связующей Верх и Низ, в буквальном смысле одухотворяющей плоть племени. Поэт «танцевал» тексты, чьи прямые смыслы далеко не всегда были вняты внимавшим ему, однако тем мощнее становились явными для них смыслы «забуквенные». Изначальная религиозная функция поэта-танцора на «заре времен» — очевидна, даже если не вспоминать о Гомере и царе Давиде. Что же удивительного, если и нынешняя поэзия иногда еще вспоминает о своих корнях? Что удивительного, если иногда поэт в томительном недоумении догадывается об изначальной иератичности своего странного, почти уже никому не нужного занятия, все более вырождающегося и

формой молитвенности, безусловно требует Отрешенности.

7

417

Тракль был религиозным человеком по призванию, а не по конфессии, и вследствие этого ему была присуща та тотальная страстность, которая традиционно воспринимается окружающими людьми как «ненормальность», как «психопатия». Очень характерен подход и тон его биографа Отто Бази-

подстраивающегося под «эстетические вкусы» толпы в нынешней распутной “мировой деревне”? Тракль и был как раз одним из немногих поэтов, догадывающихся об этом изначальном поэтическом жречестве, потому-то был столь радикально-“потусторонним” и стиль его жизни, и тон его вопрошаний, потому-то предчувствие духа как вещественной реальности является невидимой осью его поэтических медитаций.

ля: «Не вызывает сомнений, что Тракль был религиозным мечтателем и фантастом. Но одновременно он был также наркоманом, психопатом и алкоголиком». Как замечательно биограф сводит всё на физиологию: наркомания и алкоголизм, несомненно, дела вещественно-плотские, «на земле стоящие», далее из них естественно-биологически следует «психопатия», а из нее, натуральнейше, «мечтательство и фантастика», ну пусть и с религиозной подоплекой; однако же ясно как день, что есть они всего лишь следствие пьянства и наркомании. Ну и что же в таком случае остается от *homo religiosus*? И что остается от метафизики? И что значат все эти стихи? Выходит, что вполне реален лишь наркоман-психопат, религиозные же внутренние странствия, поэтическая метафизика — ирреальны, мечтатель-

но-фантастичны: красивые вербальные пузыри. «Писал красивые стихи». Что ж, обыватель может спать спокойно. Интересно, кстати, не был ли Франциск Ассизский или, скажем, Эмануэль Сведенборг «психопатом и религиозным мечтателем»?

На самом деле, конечно, религиозная жизнь личности, тем более религиозно одаренной, есть та целостная реальность, от которой невозможно укрыться ни в пьянстве, ни в наркомании. Говорить о бытовой патологии в случае Тракля недопустимая наивность, ибо эта патология входила в само существо его персональной духовной судьбы, и эта судьба влекла его к величайшему преодолению в себе чего-то, что можно бы назвать «грехами рода». «Жало в плоть» у Тракля оказалось странным образом интенсифицировано до предела, и

на этом пределе, на звенящей ноте этого предела возникла райская музыка его песнопений, заглушавшая музыку ада. Сущность этого невероятного преодоления, этой «трансформации зла» в чистую музыку «трансцендентальных» предчувствий (предчувствий дальнего прошлого и предчувствий далекого будущего — что нам показал М. Хайдеггер) еще не раскрыта, еще даже не уловлена. Тем не менее «отклонения» Тракля от стереотипа «правильного поведения» были не явлениями быта или борьбой с «социальной рутинной моралью», но чем-то более неуловимым и трагически-парадоксальным, быть может, своего рода жертвоприношением на пути к «остановке мира», жертвоприношением во имя прорыва к тому «блаженному звуку», о котором он так часто писал в стихах.

Любят ссылаться на письмо 21-летнего Георга к сестре Гермине, якобы свидетельствующее о клотаниях похоти в натуре поэта и о конвульсивном бегстве вследствие этого в «мир поэзии». Однако вчитаемся в это письмо. «...Когда я сюда прибыл, мне почудилось, что я впервые вижу жизнь так ясно, без всех субъективных ее истолкований, голой, беспредпосылочной, как будто все голоса, которыми говорит действительность, я слышу в их жестокости и мучительности. На мгновение я почувствовал то давление, которое обычно испытывают люди, почувствовав гнет судьбы.

Мне кажется, это было бы ужасно — постоянно жить в полноте ощущения тех животных инстинктов, что катят жизнь сквозь время. Я ощущал в себе ужасающие возможности, чувствовал их запах,

прикосновения, слышал завывания демонов в крови, тысячу чертей с шипами, от которых безумеет плоть. Какой жуткий кошмар!

Прочь! Сегодня это видение действительности вновь погрузилось в Ничто, далеко от меня вещи, предметы, еще дальше — их голоса, и я, став всецело одушевленным ухом, вновь вслушиваюсь в те мелодии, что живут во мне, а мои окрыленные глаза вновь сновидят образы, которые прекраснее, чем любая действительность! Мой целостный, прекрасный мир, полный бесконечной гармонии...»

Как видим, здесь ясно очерчено противостояние двух миров: мира безумной плоти и мира той плоти, чье ухо «одушевлено». И говорит Тракль не о реальности погруженности в мир «животных страстей», но о тех возможностях, которые он в себе чувствует,

о тех возможностях, которыми переполнена обычная реальность обычных людей, и о том, что он содрогается перед этими возможностями, ибо они — ужасающи. Надо иметь способность чувствовать тот потенциальный ад, который есть в нас, жителях «действительности», не обманывая себя, и надо иметь способность с невероятной мощью устремляться прочь от него. И то, и другое — уникально, и говорит не о грубости натуры, но как раз о ее сверхчувствительности. Сама «возможность», потенциально дремлющая, либо в упор не замечаемая, либо эфемерно «нереальная» для обычного человека, для Тракля являлась могучей страшной реальностью, которую следовало преодолевать на путях «духовного делания». В этом пространстве «между мирами» Тракль был одинок.

Поэт не мог укрыться в конфессии, поскольку его религиозное чувство жизни сакрализовало весь видимый и невидимый космос. С другой же стороны, он мощно видел деградацию человеческого сознания, втянутого в многотысячелетнюю мифологему «падшего рода» и бесчисленных внутренних дихотомий, раздвоенностей, внутренних конфликтов и, следовательно, войн. Реальные войны с пушками вырастают из внутренних конфликтов, сидящих в персональных, «личностных» сознаниях и психиках; внешние войны порождаемы той внутренней войной, которая перманентно полыхает в мозгу «человеческого рода». И Тракль, как любой честный искатель, не мог не обратиться именно к себе как к

ближайшему для наблюдения представителю человечества. И предъявить счет именно себе. Такова логика «оговоров». Только очень наивный человек будет считать критерием невинности и невиновности субъективное самоощущение. И напротив: критерием виновности — самообвинения и покаянья. В реальности всё бывает как раз наоборот: подавляющее большинство распутных и греховных людей искренне не самоощущают себя таковыми. Они блестяще оправдывают себя. Психика большинства (то есть вполне заурядных) людей строится из системы непрерывных самообманов, бессознательная цель которых — во что бы то ни стало сохранить высокую личностную самооценку, самоуважение, чувство своей социальной значительности, значимости и полноценности. Жизнь показывает, что «грешны-

ми», «распутными», «недостойными», глубоко страдающими по поводу своих пороков и несовершенств самоощущают себя в большинстве случаев именно чистые, по всем сравнительным меркам целомудренные и возвышенные натуры. Примеров предостаточно. Ни один тиран, ни один активный участник террора, ни один сексуальный маньяк и насильник не считал себя чудовищем или монстром. Но вся глубина психологических и метафизических переживаний греха и греховности дана нам в рассказах людей с ничтожными, по общим меркам, прегрешениями. (Вспомним Паскаля, Льва Толстого, Киркегора, Достоевского, Симону Вейль...) Лишь человек с обостренным моральным и, шире, религиозным чувством способен ощущать свою «падшесть», свою «нечистоту». Лишь тот, в ком светится, благоухая,

идеал чистоты и ангелоподобия, кто действительно чувствует ощутимую, осязаемую святость материи мира. Ясно, например, что тление человеческого тела поражало юношу Тракля не менее, чем оно поражало Карамазовых в отношении старца Зосимы: материальная субстанция столь же духоносна, как и любая другая, но отчего-то она невероятно трансформационна и исчезновенна. И крылья земных ангелов у Тракля часто испачканы грязью и калом.

В качестве «падшего человека», каковым является каждый из нас, представителей гниющего, растленного, деградирующего, самодовольного, все более вульгаризирующегося рода, Георг Тракль, конечно же, был греховен и замутнен, расколот внутренними противоборствами и взаимоисключающими влечениями. Однако здесь у него есть перед мно-

гими заметное преимущество: он открыто признавался перед собой и Богом в своей «растленности», которая, конечно же, ничуть не превосходила «растленность» окружающих его людей. Во всяком случае, нет ни малейших доказательств реальности инцестуальных связей, которые биограф Отто Базиль почему-то принимает за само собой разумеющийся факт¹¹, хотя сам же не раз с удивлением констатирует, что единственное «доказательство» реальности инцеста — стихотворение в прозе «Сон

¹¹ Тот же О. Базиль приводит серьезнейший документ: ссылки на Э. Бушбека, ближайшего к Георгу человека, пережившего к тому же в 1912 году нешуточный роман с сестрой Георга Тракля Гретой и тем самым приближенного к тайнам ее психики. Э. Бушбек решительнейше опровергал и отвергал в разговорах с друзьями всякие намеки на интимную связь брата с сестрой, трактуя «чувство вины» Георга как сложные глубоко ментальные процессы.

и помраченность», один из мотивов которого: некто взял насилем некую. Представляется излишним всерьез говорить о том, насколько абсурдно рассматривать сюрреалистически-экстатическое по стилю, почти в духе Лотреамона стихотворение, воссоздающее атмосферу тотальной греховности современного сознания, его загнанности в неотвратимость греха, в качестве юридического доноса автора на самого себя, газетного репортажа «с места происшествия». Кстати, по этой логике, какими же невероятными садистами и злодеями должны предстать нашим глазам тот же Лотреамон или Жорж Батай. Представлять 26-летнего Тракля неврастеничным идиотом, жаждавшим «публично исповедаться в страшном грехе» и для этого написавшим «поэтическую, но документально правдивую исповедь» и от-

давшим ее в 1913 году в печать, и все это при жизни родных и Греты, причинить которой малейший дискомфорт было для него нестерпимым, да и попросту непредставимым, — для всего этого надо применить неизвестную нам логику и неизвестную нам «исследовательскую» мораль, выключаящую из сферы пользования принцип презумпции невиновности. Нам же кажется, что само наличие «Сна и омраченности», где с редкой экспрессией создан образ омраченного, дико страдающего от этой омраченности сознания, тот факт, что в центре поэмы страстный конфликт между демонически чувственным влечением и влечениями ангельскими, между похотью и инстинктом целомудрия, сам факт опубликованности этой поэмы при жизни Георга и Греты доказывает наивность мрачных, кем-то однажды запущенных

слухов. А что уж говорить о том, насколько всё это не имеет значения сегодня, когда сексуальные взаимоотношения как таковые вообще выведены за пределы каких-либо моральных оценок.

Разорванность «падшего человеческого рода», бешено культивирующего рассудок, рационально-машинную сторону в человеке и тем самым отдавшего интуитивно-созерцательную часть и «метафизическую душу» на своего рода заклятие, не могла не ощущаться с огромной амплитудой целостным темпераментом Тракля, который, как и всякий поэт, опыты ставил на самом себе. И обостренный демонизм эротической чувственности, культивируемый историческим христианством, разорвавшим некогда целостного человека на «душу» и «тело», Тракль переживал как одну из центральных битв

в той большой войне, что идет в психике «падшего рода»¹², центральной религиозной фигурой которого был он сам, невинный зальцбургский мальчик, начавший вдруг однажды фатальный эксперимент по «растягиванию своей души» и своего сознания. Характерен один из его афоризмов, шокировавший его приятелей: «Я не имею права избегать Ада»¹³. Следует расшифровать: «Не имею ни морального, ни метафизического права, а в противном случае все мои искания окажутся вздором и хламом».

Разумеется, люди с мощным морально-религиозным «инстинктом истины», ставящие экспери-

¹² Блестящую формулу этого конфликта Трагль дал, сказав о Льве Толстом: «Пан, погибающий под тяжестью креста». Другое дело, что реальный путь Толстого этим отнюдь не схвачен.

¹³ Нечто похожее сказал Альберт Швейцер: «Чистая совесть – изобретение дьявола».

мент на себе (обвиняющие не просто человечество, «падший род», но и самих себя как ближайшую и поддающуюся реальному анализу и «трансформациям» модель), чрезвычайно рискуют в обыденном смысле, так как отказываются от культивирования чувства своей значимости, социальной полноценности и т. п. Они «подставляются», становятся чрезвычайно уязвимыми, они рискуют в прямом психологическом смысле оказаться для рода Пришельцами, Чужаками, оказаться в вакууме реального общения, в замкнутом круге непонимания. Что в общем-то и произошло с Траклем, и не будь у него некоего общения по поводу своих стихов, то едва ли бы оставалось что-то, что корреспондировало бы его с социумом.

Страстность и чистота, простодушие и сила, духовная зрелость и наивность — вот ощущение от его фотографий, которые сверх того дают еще и парадоксальное чувство, что перед тобой каким-то образом русское лицо (пусть посмеется надо мной читатель). Друг Рильке философ Рудольф Касснер (кстати, вполне профессионально занимавшийся физиогномикой) сказал после встречи с Георгом в 1913 году, что тот произвел на него впечатление «не выпавшегося, с землистым цветом лица невинного таинственного мальчика». Что-то нам это напоминает: невинный таинственный русский (во всеевропейско-религиозной парадигме Достоевского) мальчик. «Мальчик», поскольку метафизические

и религиозные проблемы переживал с такой наивной страстностью, какая недоступна «взрослому», для которого социальный имидж и статус в любом случае на первом месте. Для «взрослого» религиозные проблемы и философские есть сфера занятий чисто интеллектуальных, то есть социальных, и он, конечно, не будет рисковать своим здоровьем, психическим комфортом и всерьез следовать в обыденной жизни выводам и принципам, которые, скажем, «всерьез» проповедует с кафедры. О чем едко писал в свое время Киркегор, тоже бывший типично в этом (старинно-умершем) смысле «русским мальчиком» — «невинным и таинственным», сжигавшим свою плоть в страстной целостности и серьезности религиозно-психологических экспериментов.

«Христианские» интуиции Тракля имеют, я бы сказал, на самом-то деле дзэнские истоки. Христос для него — космически универсальная, внеконфессиональная и вневременная энергия, вступающая в контакт с личной силой индивида, если она достаточна, и если она достаточно глубинно центрирована, и если она чиста. Вот странный фрагмент из воспоминаний Мархольда: «Стоя перед телячьей головой, выставленной на крестьянском празднике в качестве приза, Тракль, в тот момент, когда музыка и танцы были в самом разгаре, произнес, дрожа всем телом: “Это наш господин Христос”...». Эпизод этот не следует, на мой взгляд, разбирать логически, поскольку суть его — поток реального религиозного

действия Тракля, в котором потрясенным оказывается весь его человеческий состав. Жертва Христа не есть только человеческая жертва и только во имя человек. К тому же животные в мире Тракля не менее святы, чем люди и чем деревья. Всё это в его поэтической метафизике изначально (до падшести человеческого рода) единый мир, измерение которого — естественная экстатика сакральности, внеиерархичности и той цельности, где понятия ценности и ценностей испаряются бесследно. Все одинаково ценно и все в равной мере не имеет никакой цены. Этот мир вне-идеологичен, но энергетичен неведомой нам нынешним (падшим) энергетичностью. На вопрос: «Как вы объясните такие религиозные, но не христианские явления, как Будда или древние китайские мудрецы?» — Тракль однажды ответил

просто: «Все они тоже получили свет от Христа». То есть получили свет (просветленность), вышли из омраченности «естественного» состояния задолго до рождения исторического Иисуса Христа. Следовательно, неважно, как именно назвать этот свет. Если его собеседникам, полностью пребывающим в лоне христианской терминологии, проще понимать космос через символику Христа, то термин может остаться, хотя при этом свершается мистический прыжок: Христос — не просто историческое тело, но вневременный дух, пронизывающий земной космос. Но при такой интуиции, особенно если она глубинна, термин уже неважен. Когда в твою ментальность входит подобная интуиция, тебе становится ясно, что и Лао-цзы, и Чжуан-цзы, и Будда, и Иисус Христос есть одна вневременная монада просветлен-

ности, точнее – ее модификации, пребывающие за границами истории.

11

439

Что есть мистерия? И каким образом человек оказывается послушен (причастен) зову глубин, из (от) которых он безосновательно выброшен и отброшен? Кто назовет нам это место и время отринутости? Да и если назовет — как мы войдем туда назад? Обладает ли время такой упругой возможностью впустить нас? Медленно нарастает смерть за окном. Как знак приближенности, как символ нашей незамеченности. Утрачивается бешеный ритм брошенных на произвол коней в длинноногой степи. Хоть как-то близить это священство, напоминающее о себе том-

лением зноя в крови. Погибельный гнет практических функций. Гниение зеленой плоти, не замечаемой никем в упор. Гибельность фамильно-родовых сползаний в уют полужизни, в накапливание поверхностно тоскливых смыслов, получувств, полуконвульсий. Гримасничающие божки солнечных подземелий. Кто создан для счастья? Пусть поднимут руки те, кому шепнули об этом Парки. Любая волна уйдет в песок, если не станет морем. Миллионы рек живы мечтою о нем, верой в него. Струится это знание маревом летних облаков, зноем травы, вакханалией бездонных аллей. Длится тайная мистерия. Нет, не за поворотом — здесь, в этой близости сумрачно сплетшихся ветвей бузины ли, орешника ли, крепко сдружившихся ив. Безглагольность тоски перекрывает эта пульсирующая топь звезд, вовсе не

обязательно ожидающих ночи, чтобы вонзить в нас иглу умопомрачения, когда солнце вдруг хлещет в упор своей чернотой. А деревья всей земли вступают в заговор, чтобы продлить это безумье человеческого нечленораздельного безглагольного волнения. Пустое место мистерики. Возникновение мистериальных точек на карте, за которыми внимательно следит тот, кто ответствен за высокий ток непрерывности страсти, длящейся между жизнью и смертью.

Николай Болдырев

Июль 2000

ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГЕОРГА ТРАКЛЯ

Родился 3 февраля 1887 года в Зальцбурге, на родине Моцарта, в семье преуспевающего купца, доброго, общительного человека швабско-мадьярского происхождения. Никаких намеков на будущий трагический перелом детство Георга не давало. Будучи четвертым ребенком во вполне благополучной и притом высококультурной семье, обособившейся в большом уютном доме, мальчик имел необходимую гармонию между вниманием к себе, и возможностью не особенно привлекать к себе внимания. Знаков свободы было довольно. Был он,

по воспоминаниям современников, «солнечным мальчиком, обходительным, но и готовым к любой шалости». И вдруг резкий перелом. Влюбленный в природу и в книги, в беготню и в импровизации за роялем (в концертах особенно внимательный к Шопену и Вагнеру), он с четырнадцати лет стремительно меняется почти до неузнаваемости, словно вечные сумерки входят в его глаза, словно он получает некую весть, которая не может не опалить его, не перевернуть его основы. С какого-то момента он все оставшиеся ему стремительные годы экстатически тоскует по неизвестной родине. Что и становится его тайной... Приступы меланхолии, глубочайших уходов в себя. С годами усиливающееся чувство одиночества, своей инородности миру, эпохе, ощущение себя «Пришельцем». Теряет инте-

рес к учебе в гимназии. Как следствие – оставлен на второй год. Первые приступы «пофигизма» и бегства в «богемный» стиль. Чтение «Цветов зла» Ш. Бодлера.

В сентябре 1905 года – отчисление из гимназии. Дата, от которой биографы обычно отталкиваются, чтобы сообщить о начале «падения» Георга: приобщения к наркотикам, вину, устремленности к темам смерти, самоубийства, к тайне перехода в потустороннее измерение. Но, безусловно, причиной всего этого было отнюдь не то, что называется «социальный дискомфорт». Очевиден метафизический уклон его тоски, забросившей глубокий лот в тему утраченной гармонии полов, андрогинизма, когда-то хранившего «единый пол-род».

Стихи периода 1905 – 1908 годов исполнены напряженных, мрачных образов, где активна мистика цветовых ощущений. Чтение Ленау, Бодлера, Георге, Гофмансталя, Рильке. В конце 1906 года юный поэт представил своему другу Эрхарду Бушбеку сборник из 50 стихотворений. В марте 1906 г. в зальцбургском театре состоялась премьера одноактной пьесы Тракля «Поминальный день», герой которой, страстно влюбленный в девушку Грету, в финале кончает с собой.

Существует миф (документально не подкрепленный) об инцестуальных порывах Георга к сестре Грете, младшей его на пять лет. Поводом к этому мифу стала нежная влюбленность поэта в сестру, в которой он видел олицетворение всего лучшего, что потенциально сущностно в женщине. Франц

Брукбауэр рассказывает, что уже в гимназические годы сестра была для Георга «самой прекрасной девушкой», «великой пианисткой», «редкостным существом». Вероятно, поэт самоощущал сестру мистической силой, дополняющей его до духовной целостности из измерения платоновского мифа. Считается, что брат вольно или невольно приохотил сестру к наркотикам.

Осенью 1908 года Георг поступает в Венский университет по специальности «фармацевтика», на что, быть может, повлиял недавний опыт его работы в зальцбургской аптеке «У белого ангела». Год спустя Грета поступает в Венскую музыкальную академию. Особенно хорошо она играла любимого ею Шопена и русских романтиков. Сам Тракль тоже нередко часами просиживал за роялем, странствуя

в Шопене, Листе и Вагнере. В июле 1912 г. Грета выходит замуж за бухгалтера, человека много старше себя. Брак быстро обнаружил множество трещин и несовместимостей. Интенсивные душевные, в известном смысле мистические, отношения с братом сохраняются вплоть до его гибели.

В 1909 – 1910 годах поэт Тракль обретает полноту собственного стиля. Переживает творческий подъем. В 1909-м газетные публикации стихотворений «Три пруда в Хельбруне» и «Кладбище Святого Петра». Гротескная фантастика стихов неизменно поражала литературных друзей поэта. «До самой смерти он боялся полного провала в безумие», – Э. Мархольд. В 1910-м заканчивает университетский курс фармацевтики и поступает добровольцем на одногодичную военную службу. Ощущение

одинокости углубляется. «Я хотел бы полностью где-нибудь укрыться и сделаться невидимкой». Чувство «мирового страха». Смена контрастных порывов: то к монашеской аскезе, то к дионисийской раскованности. Неудачные попытки устроиться на работу и тем вписаться в социум.

В май 1912 года – начало сотрудничества с журналом «Бреннер», где были опубликованы важнейшие его стихи. Встреча с Людвигом фон Фикером (издателем журнала), ставшим для Георга другом и покровителем. Второй сборник стихов «Сумерки и распад» одно известное мюнхенское издательство отклонило. В январе 1913 был завершён «Гелиан» – одно из самых тонко-магических стихотворений XX века. В этом же году вышел в свет в Лейпциге сборник «Стихи». В августе Георг совершает по-

ездку в Венецию. В октябре публикует «Грезящего Себастьяна».

Январь грозно-отчаянного 1914-го обозначен фантазий в прозе «Сон и затмение». В июле Людвиг фон Фикер неожиданно получает от одного мецената, пожелавшего остаться инкогнито (им, как позднее выяснилось, был философ Людвиг Витгенштейн), сто тысяч крон для нуждающихся писателей. Издатель выделил по 20 тысяч Траклю и Рильке. Впрочем, Тракль не воспользовался этими деньгами. Когда он пришел в банк, чтобы снять со счета часть суммы, его охватил такой внезапный страх, что он буквально выбежал из здания. Всё свое имущество, и деньги в том числе, он завещал Грете.

Разверзшаяся мировая война поглотила Георга в свое бездонное чрево. Он был немедленно мобили-

зован и 24 августа 1914 года отправлен на фронт. Брошен в пекло страшного боя за Гродек под Краковом. Ужасы бойни и ужасы госпитальные доводят его до попыток самоубийства, после чего он был отправлен в краковский госпиталь для обследования на предмет психического состояния. Здесь он и скончался (3 ноября) от сердечного паралича как следствия передозировки кокаина (случайной или намеренной – неизвестно). 6 ноября похоронен на Раковицком кладбище в Кракове в присутствии своего денщика.

После смерти Георга его сестра Грета впадает в глубочайшую депрессию, ее не покидает чувство полной неприкаянности. Спустя три года (21 ноября 1917 года) она сводит счеты с жизнью, застрелившись из пистолета. Было ей на тот момент 25 лет.

В 1925 году останки поэта были перезахоронены в любимом им Тироле под Инсбруком на кладбище религиозной общины Мюлау.

Содержание

Пирамида (<i>Предисловие</i>).....	5
ГЕОРГ ТРАКЛЬ. ПЕСНЬ ОТРЕШЕННОГО	21
AM RAND EINES ALTEN BRUNNENS. 2. <i>Fassung</i>	22
НА КРАЮ СТАРОГО ФОНТАНА. 2-я редакция	23
UNTERWEGS	24
В ПУТИ.....	25
„O das Wohnen in der Stille...“	30
«О тишина проживания...»	31
AN DIE SCHWESTER	32
СЕСТРЕ	33
SOMMERSNEIGE	34
ИСТАЯЛО ЛЕТО.....	35
KASPAR HAUSER LIED	36
ПЕСНЬ О КАСПАРЕ ХАУЗЕРЕ.....	37

GEISTLICHE DÄMMERUNG. 2. Fassung	40
СВЯЩЕННЫЕ СУМЕРКИ. 2-я редакция.....	41
LEBENSALTER	42
ВОЗРАСТЫ ЖИЗНИ	43
AN EINEN FRÜHVERSTORBENEN	44
ОДНОМУ РАНО ПОЧИВШЕМУ.....	45
ANIF	50
АНИФ	51
FRÜHLING DER SEELE	54
ВЕЩА ДУШИ.....	55
AN NOVALIS. 2. Fassung (a)	60
KINDHEIT	60
НОВАЛИСУ. 2-я редакция (a).....	61
ДЕТСТВО.....	61
HELIAN	64
ГЕЛИАН.....	65
NEIGE. 2. Fassung	82
СКЛОН. 2-я редакция.....	83

AN JOHANNA	84
ИОАННЕ.....	85
NÄHE DES TODES. 2. Fassung	90
БЛИЗОСТЬ СМЕРТИ. 2-я редакция	91
SEBASTIAN IM TRAUM	92
ГРЕЗЯЩИЙ СЕБАСТЬЯН	93
AM MÖNCHSBERG. 2. Fassung	104
НА МОНАШЬЕЙ ГОРЕ. 2-я редакция	105
„Die blaue Nacht ist sanft auf unsren Stirnen..“	106
«Синяя ночь возлегла нам нежно на веки...».....	107
PSALM. 2. Fassung	110
ПСАЛОМ. 2-я редакция	111
DIE SONNENBLUMEN	118
ПОДСОЛНУХИ	119
HÖHENBURG. 2. Fassung	120
ХОЭНБУРГ. Вторая редакция	121
ABEND IN LANS. 2. Fassung	122
ВЕЧЕР В ЛАНСЕ. 2-я редакция	123

SIEBENGESANG DES TODES	124
СЕМИПСАЛМИЕ СМЕРТИ	125
UNTERGANG. 5. <i>Fassung</i>	130
ЗАКАТ. 5-я редакция.....	131
NACHTS	132
IN VENEDIG	132
НОЧЬЮ	133
В ВЕНЕЦИИ	133
DE PROFUNDIS	136
DE PROFUNDIS.....	137
„Finsternis blutet ein braunes Wild im Busch...“	140
«Кровью в кустах истекает, тоскуя...»	141
RUH UND SCHWEIGEN	142
ПОКОЙ И БЕЗМОЛВИЕ.....	143
DER WANDERER. 2. <i>Fassung</i>	144
СТРАННИК. Вторая редакция.....	145
GESANG DES ABGESCHIEDENEN	148
ПЕСНЬ ОТРЕШЕННОГО.....	149

ABENDLIED	152
ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ.....	153
STUNDE DES GRAMS	156
ЧАС СКОРБИ.....	157
DIE RATTEN	158
КРЫСЫ.....	159
AN DEN KNABEN ELIS	160
МАЛЬЧИКУ ЭЛИСУ	161
ELIS. 3. <i>Fassung</i>	164
ЭЛИС. 3-я редакция	165
ABENDLAND. 4. <i>Fassung</i>	172
ЗАПАД. 4-я редакция.....	173
IM FRÜHLING	180
ВЕСНОЙ.....	181
AM ABEND. 2. <i>Fassung</i>	182
ВЕЧЕРОМ. 2-я редакция	183
Nächtliche Klage. 1. <i>Fassung</i>	184
НОЧНЫЕ СЛЕЗЫ. 1-я редакция	185

Der Heilige	186
СВЯТОЙ	187
„Nimm blauer Abend eines Schläfe, leise ein Schlummerndes...“ ...	188
«Прими синий вечер этого сна, тихую полуявь...»	189
ABENDLÄNDISCHES LIED	190
ПЕСЬ ВЕЧЕРНЕЙ СТРАНЫ	191
VERKLÄRUNG	194
ПРОСВЕТЛЕНИЕ	195
FÖHN	198
ФЁН	199
„Die Stille der Verstorbenen...“	200
«Тишина мертвых...»	201
<WIND, WEIßE STIMME...>. 1. Fassung	202
<ВЕТЕР, БЕЛЫЙ ГОЛОС...>. 1-я редакция	203
<WIND, WEIßE STIMME...>. 2. Fassung	208
<ВЕТЕР, БЕЛЫЙ ГОЛОС...>. 2-я редакция	209
„Rote Gesichter verschlang die Nacht...“	210
«Алые силуэты поглотившая ночь...»	211

DIE SONNE	212
СОЛНЦЕ	213
DAS GEWITTER	214
ГРОЗА	215
KLAGE	220
ЖАЛОБА.....	221
DIE NACHT	222
НОЧЬ	223
SOMMER	226
ЛЕТО	227
IN EIN ALTES STAMMBUCH	228
В ОДИН СТАРИННЫЙ АЛЬБОМ.....	229
„So leise läuten...“	230
«На белой стене...».....	231
GESANG EINER GEFANGENEN AMSEL	234
ПЕСНЯ ПЛЕННОГО ДРОЗДА.....	235
IM DUNKEL 2. Fassung	236
В СУМЕРКАХ. 2-я редакция	237

IN HELLBRUNN	238
В ХЕЛЬБРУННЕ	239
„Dunkel ist das Lied des Frühlingsregens...“	240
KARL KRAUS	240
«Смутная песня весеннего дождя...»	241
КАРЛ КРАУС	241
DAS HERZ	242
СЕРДЦЕ	243
IM SCHNEE. (<i>Nachtergebung</i>) 1. Fassung	246
В СНЕГУ. (<i>Посвящение в Ночь. 1-я редакция</i>)	247
VERWANDLUNG DES BÖSEN. 2. Fassung	248
ПРЕВРАЩЕНИЕ ЗЛА. 2-я редакция	249

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР. ЯЗЫК ПОЭМЫ

<i>Истолкование (поиск местности) поэзии Георга Тракля</i>	259
--	-----

<u>Приложение.</u> ГРЕЗЯЩИЙ ГЕЛИАН	381
ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г. ТРАКЛЯ	442

Георг Тракль
Песнь Отрешенного

Мартин Хайдеггер
Язык поэмы

Автор проекта – В.Кожемякин
Дизайн, верстка, проект серийной обложки – С. Касьянов
дизайн обложки – М.Горшков
изготовление книги – М. Кулматов

Подп. в печать 13.06.2014. Усл. печ. л. 28,75.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Minion». Формат 70x90/64. Заказ № 414.

Издательство “Летний сад”
Москва, пр. Нансена, 4.
e-mail: letsad@mail.ru

Книга отпечатана в мастерской им. Фадеева Геннадия
г. Москва, пр. Нансена, 4.